

**СИН  
ТАК  
СИС**



**23**

# **СИНТАКСИС**

**ПУБЛИЦИСТИКА**

**КРИТИКА**

**ПОЛЕМИКА**

**23**

**ПАРИЖ**

**1988**

**Журнал редактирует :**

**М. РОЗАНОВА**

**The League of Supporters: Т. Венцова, Ю. Вишневская,  
И. Голомшток, А. Есенин-Вольпин, Д. Каминская,  
П. Литвинов, Ю. Меклер, М. Окутюрье, В. Турчин,  
А. Френдли, Е. Эткинд**

**Мнения авторов не всегда совпадают  
с мнением редакции**

**© SYNTAXIS 1988**

**Адрес редакции :**

**8, rue Boris Vilde  
92260 Fontenay aux Roses  
FRANCE**

**С. Максудов**

## **”ДИАЛОГ” С КРИВЫМ ЗЕРКАЛОМ**

”Не судите, да не судимы будете...”

Одна из самых злободневных тем русскоязычной Америки — отношение к гостям из СССР. Вопрос не нов, но он приобрел особую остроту, когда на сцене, перед эмигрантской аудиторией, стали появляться люди прежде за рубежом не выезжавшие — А. Битов, Ф. Искандер, О. Чухонцев, Ал. Кушнер, Юнна Мориц и другие. В большинстве своем эмигранты этим визитам рады: охотно покупают билеты на концерты Жванецкого или выступления Ахмадулиной, наслаждаются музыкой Альфреда Шнитке и после выступлений спрашивают о происходящем в стране. Совершенно иную позицию занимает эмигрантская пресса — в потоке обвинений и оскорблений буквально тонут робкие попытки защитить отдельных писателей, напомнить об их несомненных заслугах перед литературой и общественным движением в Советском Союзе. Куда там, бесполезно.

Вот заголовки:

**”ДЕКАБРИСТЫ ИЛИ ПЯТАЯ КОЛОННА”**

Марк Иоффе. ”Новое русское слово”, 30.1.1988.

**”СТЫДНО, ГОСПОДА!”**

Геннадий Брайман, Марк Троицкий. НРС, 22.1.1988.

А вот цитаты:

”И с исполнением приговора влезли мы на сцену — приговора трусливой немоте советских литераторов. Шок советских был их казнью ... Наши соотечественники за ”железным занавесом” не ждут от нас рукоплесканий своим старым полулеглам, которые нынче стали суперлегальными певцами перестроенного тоталитаризма”.

Братья Гудавы. ”Путаница”, НРС, 25 марта 1988.

”По этому поводу можно сказать только одно: дьявола не переспоришь, его можно только игнорировать. Но поскольку дискуссий с сатаной не избежать, то позволю себе (нет, нет, советов не даю!) напомнить о кое-каком опыте пршлого”.

Марк Поповский. ”Диалог”. НРС, 5 августа 1988.

”Я очень прошу вас, Александр Галич!

Не возвращайтесь — вы будете чужеземцем в Вашей родной... России”.

Геннадий Брайман. НРС, 3 августа 1988.

”Забоятся не за страх, а за совесть, убаяюкивая западного обывателя наивными байками о наступлении в СССР золотого века свободы и демократии. И что им до бед и проблем трехсотмиллионного народа. Они — жрецы искусства — выше этих земных забот... Не мы, а они должны испытывать чувство вины, выступая перед нами, и говорить об этом открыто, а не заниматься лукавым словоблудием о каких-то там никому не известных подвигах на правозащитном поприще. Судя по всему, нет-таки пророка в своем отечестве, а эмиграция — это, на мой взгляд, тоже определенного рода отечество. Что же все-таки с нами произошло, дорогие мои соотечественники, или, выражаясь по товарищу Сталину, братья и сестры? Почему спешим в путешествия по стране, из которой когда-то вырвались с таким трудом?”

Владимир Максимов. В дыму отечества. НРС, 18 марта 1988.

”Пусть будет настоящий обмен людьми и идеями, а не засылка на Запад советского идеологического десанта.

Пусть к нам приедут гостить и читать лекции Сергей Гри-

горьянц, Лариса Богораз, Звиад Гамсахурдиа, Мераб Костава и другие, а в СССР пусть поедут с выступлениями Ирина Ратушинская, Иосиф Бродский, Владимир Максимов, Александр Солженицын и любой из нас”.

Тенгиз Гудава. Этюды на тему перестройки. 21 июня 1988, НРС.

”Обаятельный, умный, тонкий, но ни на секунду не забывающий, что он находится на службе и лавирующий между желанием нравиться израильской публике и оглядкой на московское начальство — такое впечатление оставил по себе Булат Окуджава...”

Шимон Черток. Булат Окуджава о ”перестройке”. НРС, 8 марта 1988.

Возмущенные статьей Чертока 48 жителей Бостона написали протестующее письмо и заканчивали его так:

”Наше письмо вызвано не эстетическими воззрениями Шимона Чертока и не его оценкой Булата Окуджавы как художника (почему-то нам кажется, что она не опасна для его репутации), а тем, что он оскорбил замечательного поэта и человека, которого мы все (да и только ли мы?) любим, которым гордимся, то есть оскорбил нас”.

Кто-то из редакторов НРС вычеркнул из письма эту фразу. Читателям, оказывается, непозволено высказать свое отношение к писаниям Шимона Чертока, заявить, что они для них оскорбительны. Почему?

По-видимому, редакторы думают, что свобода слова существует для них, с них начинается и ими заканчивается. Чтобы не было на этот счет никаких сомнений, газета из номера в номер объявляет:

”В переписку по поводу непринятых материалов редакция не вступает...”

”Редакция газеты оставляет за собой право редактировать тексты объявлений, письма, статьи и любые публикуемые материалы”.

Вот тебе, бабушка, и ”парламент мнений” — как однажды охарактеризовал свою газету ее редактор Андрей Седых. Вот тебе и ”открытый диалог между выразителями самых различных убеждений”, которым гордится вице-президент НРС Валерий Вайнберг, вот тебе и ”верность журналистской честности и вечным ценностям”, которую приветствовал к газетному юбилею, увы, не читающий по-русски президент Рейган.

Нет, господа редакторы и президенты, не вам говорить об уважении к чужой мысли, к иной точке зрения, об обязанности знакомить с нею читателей! В этом отношении вы очень далеки от "вечных ценностей" Рональда Рейгана и очень близки к традициям родимой газеты "Правда".

К сожалению, НРС не исключение. Повсюду в эмигрантской прессе видим мы произвол, борьбу самолюбий, абсолютизм редактора при полной беззащитности автора, партийную предвзятость в худшем виде. В такой обстановке становится возможной самая разнузданная ложь. Заявляет, например, Игорь Геращенко на страницах газеты "Русская мысль", что в Чернобыле погибло не 30 человек, а 30 тысяч (причем не просто погибло, а было оставлено без всякой медицинской помощи, фактически умерщвлено в киевских больницах и тайно похоронено в братских могилах) — и хорошо, так и печатают. Сказал бы 30 миллионов — еще лучше. Письма и статьи, опровергающие утверждения Геращенко, редакция газеты прячет под сукно. Зачем? Ведь они так успешно "разоблачили" советскую власть. При этом очевидно, что редакторы сами не верят тому, что публикуют. Ведь если хоть на секунду предположить, что действительно погибли многие тысячи, то как можно посвящать десятки страниц дебатам 30 или 130 было жертв в Сумгаите или непрерывно возвращаться к вопросу о расстреле четырех тысяч польских офицеров почти 50 лет назад и молчать о Чернобыле, не требовать создания международной комиссии, не обращаться с вопросами к киевским диссидентам, не пытаться самим выяснить правду. Молчат, будто ничего не случилось, будто гибель тридцати тысяч человек заурядное явление, постоянно случающееся в стране. Молчат, и это молчание красноречивее слов.

Многие думают, а некоторые и пишут, что перемещение человека из мира насилия в общество свободы делает его честнее и чище: там, дескать, приходилось ходить на собрания, голосовать за резолюции, здесь ничего этого нет. Действительно, эмигранта перестали принуждать к определенным действиям, и он их не совершает (хотя порой по привычке совершает — к моему знакомому в Израиле постучала в дверь бывшая партийная активистка и потребовала, чтобы он не печатал на пишущей машинке в субботу). Следует ли из этого, что изменился внутренний мир уехавшего человека?

Даже стремление к свободе, борьба за право на эмиграцию сами по себе не ведут автоматически к переменам в сознании. Лозунг "Я выбрал свободу" — не более этичен, чем возглас: "Я люблю хлеб с маслом". Нравственными эти высказывания становятся, когда мы начинаем добиваться хлеба и свободы для других.

На Запад эмигрант прибывает точно таким же, каким он был в СССР: с высокими требованиями к окружающим (включая государство и исключая себя самого), с тоталитарным сознанием, заставляющим правдами и неправдами бороться с инакомыслием. Напрасно Марк Поповский в мажорном тоне перечисляет наши достижения (НРС, "Через стекло", 27 мая 1988):

"Вспомните то общее, что нас всех объединяет: наш исход был определен моральными причинами... Эмигрантские писатели засылают в СССР свои книги, разоблачительного содержания... Мы, эмигранты, продвинули в печать многие достойные книги наших соотечественников... Мы подаем руку помощи каждому пишущему, всякому, кого советское государство еще не успело развратить и запугать".

Все это сильно преувеличено. Не "подаем мы руку помощи каждому пишущему". Хорошо, если в пропасть с обрыва не сталкиваем. У меня в столе лежит письмо редактора журнала "Время и мы" Виктора Перельмана. Без всякого смущения он сообщает, что рукописи, пересланные на его имя из Москвы, он уничтожил, поскольку использовать в журнале не собирался, а перевозить их из Иерусалима в Нью-Йорк было накладно.

Впрочем, что там "каждому", — самым лучшим руку помощи мы тоже, как правило, не подаем. Книга Варлама Шаламова "Колымские рассказы" 15 лет ждала издания на Западе и вопреки воле автора растаскивалась журналами по кусочкам. Роман Гроссмана, чудом утекший из хранилищ КГБ, отнюдь не был встречен эмиграцией с восторгом. После публикации отрывка в "Континенте" роман долгие годы лежал без движения, пока, наконец, благодаря усилиям Е.Г.Эткинда и С.Маркиша, не началось его триумфальное шествие по миру. Конечно, на ниве индивидуально-литературной деятельности успешно трудятся немало авторов (двое только что названных тому прекрасный пример), но не будем говорить: "Мы пахали". Чей труд — тому и почет.

Не существует единого эмигрантского "мы" — ни писа-

тельского, ни человеческого. Исход одних был определен "моральными причинами", других — сугубо материальными. Первых значительно меньше. Помню, как вскоре после приезда я был поражен, узнав, что все библиотеки, университеты, газеты и журналы государства Израиль, все двести тысяч недавних эмигрантов из СССР, включая сотню русскоязычных писателей и едва ли не тысячу бывших диссидентов, выписывали 10 экземпляров "Хроники текущих событий". "Хроники", вобравшей все лучшее из правозащитного движения; "Хроники", ради существования которой шли в тюрьмы, ссылку, психбольницы; "Хроники", долгие годы противостоявшей всесильному КГБ. Не десять тысяч — десять экземпляров!

Лишь однажды эмигранты в Америке попытались объединиться, создав Лигу борьбы против фильма "Русские здесь". Они обиделись и решили судиться с телевидением, чтобы был поставлен новый фильм, изображающий эмиграцию в более приглядном свете, чтобы показали Бродского, Барышникова и Ростроповича, а не какого-то богомного Кузьминского. Эмоции были сильными, но недолгими. Вожди стихли, казначея посадили, Лига — бесславно умерла.

Нет эмигрантского "мы", эмигрантское же "я", освободившись от рамок советской действительности, а заодно и от социального давления окружающей интеллигентской среды, оставшись с глазу на глаз с незнакомым миром, зачастую дичает, теряя и без того не слишком устойчивые этические представления.

Напомню лишь об одном недавнем событии. Диссидент, борец за эмиграцию в Израиль, автор известной книги "Трепет забот иудейских" Александр Воронель опубликовал в журнале "22" записки доносчика Сергея Хмельницкого, которого в свое время в Москве дружно подвергли бойкоту. Воронель объяснил, что стукач свое уже претерпел и, кроме того, каждый должен быть выслушан. Однако возмущенные протесты и опровержения измышлений Хмельницкого, сделанные Диной Каминской, Юлием Даниэлем, Ларисой Богораз, группой московских интеллигентов, — журнал напечатать отказался. Видимо, с точки зрения Воронеля следует выслушать не просто каждого, а лишь каждого клеветника. Я позволю себе процитировать конец письма Ларисы Богораз к Воронелю, долго ходившего в эмигрантском самиздате, пока его не напечатал журнал "Время и мы".

”А теперь, Саша, поговорим о странностях любви. Я не к тому, что ”сегодня с этим, а завтра с третьим”, — каждый из нас не скворец, чтобы твердить одну и ту же песню. Новые песни придумала жизнь — какую же ты поешь?

Ты веришь, что Хмельницкий ”свое наказание претерпел”; может это и так, не мне, да и не тебе судить, сверху виднее. Да только вышел он из своего чистилища неочищенным и необновленным о чем сам свидетельствует ”из чрева китова”.

Ты хотел, чтобы твой читатель в полутонах, в равномерном размазывании черного по белому вообще утратил понятие об этой цветовой оппозиции. Но вспомним Галича:

Все не напрасно в этом мире,  
(Хотя и хрен ему цена!)  
Все не напрасно в этом мире,  
Покуда существуют гири  
И виден уровень говна.

Похоже, что в вашем высокоцивилизованном мире отказались от простецкого говномера, а нового прибора того же назначения не придумали. Так и живете пока”.

Лариса Богораз заметила самое больное место эмиграции — распылчатость моральных норм. Поэтому так неприятны проповеди нравственности, с которыми эмигрантские авторы любят обращаться к бывшим соотечественникам. Особенно часто этим занимается Марк Поповский. Начав свои моральные поучения еще 9 лет назад, он только за последние два месяца опубликовал несколько огромных статей в газетах ”Панорама” и НРС (”Через стекло”, НРС 27 и 28 мая, — редакция сопроводила эту статью подзаголовком: ”Совписы за границей”; ”Диалог”, НРС, 5 августа и др.). Взгляды М.Поповского типичны для многих эмигрантов, и поэтому, я думаю, стоит заняться ими подробнее. Статьи его — страстный монолог, обращенный к братьям по изгнанию, — содержат призыв не верить коварным туристам, бывшим соотечественникам и приятелям. Автор печется о спокойствии наших душ, боится, что безнравственные визитеры могут нас совратить. Забота трогательная, но, пожалуй, напрасная. Еще в 1979 году волновался Поповский по поводу прибытия ”троянского табунка”, как он назвал большую группу литераторов от Евтушенки и Вознесенского до Высоц-

кого и Аксенова. Два последних случая представляют особый интерес.

Высоцкий умер, и сразу выяснилось, как дорого людям его имя. Теперь литературоведы и красные следопыты составляют летопись его жизни, кропотливо собирая все сказанное им и о нем. Может, следует Марку Александровичу задуматься: хорошо ли он поступил, задев поэта незадолго до смерти недобрым словом? Тем более, в эмиграции, как и в СССР, принято прощать покойников. Вот и Геннадий Брайман, призывающий Галича не возвращаться на родину, называет Высоцкого "Народным Поэтом", а Галича всего лишь его предтечей. Правда, для братьев Гудав Высоцкий все еще остается врагом номер один, "лауреатом Государственной премии, безвременно скончавшимся не от голодовок протеста... св. Владимиром... когда то тоже "гастролировавшим в Америке". Но уже, конечно, ни Брайман, ни Гудавы, ни Поповский не вспоминают, что Галич тоже (о ужас!) был лауреатом и тоже ездил за границу снимать советско-французский фильм по заданию (как же иначе) советского правительства.

То же с Аксеновым. Нынче они с Поповским товарищи по оружию. Вот бы последнему и расспросить по-дружески коллегу, какие задания тот выполнял во время своих многочисленных поездок по Америке и Европе, насколько отличаются его сегодняшние лекции в американских университетах от тогдашних, читанных еще советским зависимым писателем. А если мало отличаются, может, не грех и извиниться за то, что напрасно порочил в былые времена. Но Поповский не пытается переосмыслить опыт прежних сражений, он просто переписывает из старых статей в новые большие, видимо излюбленные куски. Вот один из них:

"...классики наши, случалось, плевать хотели на осторожность. Пастернак послал свой роман за границу печатать. Ахматова, та годами стихов своих не публиковала. За границу же поехала не по заданию, а лишь после того, как с глубоким почтением пригласили ее в Италию поклонники ее таланта. И Корней Иванович Чуковский не ездил в советскую пору по заграницам. Ибо был умен и осторожен и не хотел платить подлостью за удовольствие. Поехал лишь однажды по приглашению Оксфордского университета получать степень доктора. И выступая в Англии, докторскую мантию ложью не замарал.

Как не вспомнить в том же ряду Осипа Мандельштама и Марину Цветаеву! Так вот вели себя российские гении в недавние еще времена”.

Эти соображения Поповского тогда же вызвали возражение в московском самиздатском журнале ”Поиски и размышления”:

”Как просто и легко у наших сегодняшних эмигрантов все получается. Если ты честен, талантлив, пока не эмигрировал — пиши в стол, можешь покончить с собой, думать не смей о зарубежных поездках, а коли поехал, значит работаешь по заданию ЦК КПСС или, более того, КГБ. Казалось бы, и действительно так. Ни для кого не секрет, что не только доброе желание нужно советскому писателю для поездки за границу. Необходимо еще и положительная характеристика Союза Писателей, виза КГБ и разрешение соответствующего отдела ЦК, который, несомненно, планирует каждую поездку как демонстрацию чего-то для чего-то, культурное наступление и т.д.

Это так. Однако живет в Париже писатель Виктор Некрасов, который немало поездил по миру, прежде чем принял окончательное решение об эмиграции из СССР. Его-то следовало бы М.Поповскому допросить в первую очередь: чем он оплатил свои зарубежные поездки. Да и В.Некрасов сам уж задумался над этим вопросом. Путешествуя по Франции и Италии, он постоянно возвращается к своим первым советско-туристическим впечатлениям. Возможно, они были несколько поверхностны, на что-то изменился угол зрения, что-то понял и узнал получше, но в главном Некрасову-эмигранту не пришлось отречься от Некрасова — советского писателя.

А значит — как выиграла от этих его заграничных поездок мы, советские и не советские писатели.

И с нашими классиками все обстояло отнюдь не так существенно примитивно, как рисуется Марку Поповскому. Анна Андреевна (отнюдь не в упрек ей будет сказано) не по своей воле не печаталась и не только благодаря глубокому почтению ее поклонников поехала в Италию. Потребовалась и ей характеристика Союза и разрешение ЦК. И нетрудно представить, как уговаривал партийных чиновников председатель иностранной комиссии Алексей Сурков, как ручался он, что не подведет Анна Андреевна, ничего лишнего сказать себе не позволит, а наоборот, продемонстрирует и укрепит. А укреплять было

что. Происходило это как раз в том самом году, когда Евтушенко выступал в Париже, а Синявский и Даниэль сидели в тюрьме. И если молодого неуравновешенного Евтушенко советские чиновники немного опасались — того и гляди, выкинет что-нибудь неожиданное, вроде преждевременной автобиографии, то выдержанностью Анны Ахматовой Алексей Сурков и сейчас продолжает гордиться: "И в послевоенные годы, после опубликования постановления ЦК партии о журналах "Звезда" и "Ленинград", и в шестидесятые годы, когда поэтесса, удостоенная степени почетного доктора Оксфордского университета и итальянской международной литературной премии, выезжала за рубеж — в Италию, Англию, Францию, — она твердо и решительно отстраняла всех непрошенных "адвокатов", надеявшихся услышать жалобы на превратности судьбы, слова обиды и осуждения того нового, что внесла Октябрьская революция в жизнь ее родины".

Опять повторю, что не в осуждение Анны Андреевны вспоминаем мы сейчас о ее зарубежных поездках. Но не так уж тут все просто, если нынешний эмигрант Поповский и советский бюрократ Сурков равно ими гордятся.

А в трагедиях Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама и Юрия Галанскова обвинять Евтушенко и Окуджаву совсем уже нелепо. Здесь много виноватых. Виноваты мы все, кто не сделал все, что в его силах, для спасения этих прекрасных писателей и людей. И едва ли Марк Поповский может чувствовать себя менее виновными, чем Булат Окуджава\*\*.

(*"И снова о странностях любви"* - "ПиР" №3, июнь, 1980)

В своих новых сочинениях Марк Поповский делит русских литераторов на две четкие категории: аморальные — те, кто живет в Советском Союзе и приезжает на Запад с советскими паспортами, и глубоко нравственные — эмигранты, коллеги Поповского, кого "томила жажда сказать свое собственное, независимое слово", чей отъезд был "актом нравственного протеста, желанием изменить моральный климат".

Нравственность в этом нехитром черно-белом раскладе — нечто вроде "социал секьюрите намбер", который вручается

---

\* Кстати сказать, Окуджава принадлежал к числу тех, кто протестовал против суда над Синявским и Даниэлем и получил за это в свое время выговор.

эмигранту при пересечении границы. Доказательства? Пожалуйста. Аморальность советских авторов Поповский готов продемонстрировать на собственном опыте. Он сам сорок лет работал в советской литературе, шестнадцать лет был членом ССП, "шел на компромиссы, самопредательство. Им же несть числа". Он не может пока "честно взглянуть в глаза читателю, которого по сути обманул в 1963 году". Этот, прямо скажем, впечатляющий пример лишь подтверждает общее правило: "...живущий и работающий в СССР писатель независимым не бывает по самому определению. "Независимый советский писатель" — не что иное как оксюморон, что-то вроде "горячего льда" или "светлой тьмы".

...у него просто нет другого выбора, как принадлежать всецелому и всевластному государству.

...в любой разрешенной теме есть четко обозначенные пределы, контрольные цифры, кодовые запреты, громадная тайная бухгалтерия, которую каждый советский писатель (совпис) должен знать на зубок. От этого в конечном счете зависит его карьера" (НРС, 27 и 28 мая 1988).

Рассуждения Марка Поповского напоминают утверждения Кирилла Хенкина, заявившего в свое время на страницах "Континента", что эмиграция по крайней мере на 60% состоит из сотрудников КГБ. Метод доказательств Хенкина такой же, как у Поповского. Во-первых, разрешение на выезд дает КГБ и только КГБ, и, конечно же, оно выпускает только своих, согласившихся сотрудничать с ним людей. Во-вторых, посмотрите на меня.

Поповский несомненно прав, когда описывает нехитрый механизм партийного управления литературой, демонстрируя значение государственного заказа и полную зависимость советского писателя. Все так оно и есть. Но ошибка состоит в том, что он абсолютизирует личный опыт. Все сказанное им правда, но — не вся правда. Есть в СССР и другого рода литература, существующая вопреки партийным рекомендациям. Не то чтобы ее авторы не нуждались в квартирах и дачах, но они просто не могут следовать государственному заказу, запоминать коды и запреты. Есть в них нечто, заставляющее идти не по проторенной хорошо оплачиваемой дороге. Это "нечто" проще всего назвать талантом. Не государственный заказ выполняли Ахмато-

ва, Булгаков, Замятин, Зощенко, Мандельштам, Пастернак, Платонов. Шли они каждый своим крестным путем, не думая о "контрольных цифрах", и в самое страшное время вынесли на своих плечах честь и славу русской литературы. И в 60-70 годы совсем не все советские писатели поступали, как Поповский. Лидия Корнеевна Чуковская, упоминаемая в статье, не подчинялась редакторам и не уступала цензуре, она отказывалась печатать свои книги, если в них меняли хоть слово. Василий Гроссман пытался опубликовать роман "Жизнь и судьба" в советских журналах и перед смертью, в нужде, отказался покалечить свой очерк об Америке в угоду цензуре. Битов и Искандер в то самое время, когда Поповский "тайком писал в стол честные книги", публиковали на Западе романы, которые возвращались на родину томиками издательства "Ардис", передавались радиостанциями, составляли духовный хлеб советской интеллигенции. Для того, чтобы, оставаясь в СССР, печататься на Западе, нужно намного больше мужества, чем взывать к нравственности, отъехав на безопасное расстояние.

Независимое слово упорно оказывало сопротивление унынию и конформизму в недавние времена. Соленый анекдот и черный юмор, песни Высоцкого, Окуджавы и других бардов, пьесы Петрушевской на самодеятельной сцене, неподцензурный альманах "Метрополь", подшивка старого "Нового мира" и книги Солженицына, Набокова, Бродского, Абрамова, Распутина, Трифонова, Астафьева, Быкова и многих других, писавших честно, в меру отпущенного им Богом дарования, — все это противостояло духовному вырождению народа, позволяло надеяться на неизбежный и бесславный конец Марковых и Михалковых вместе с прославленным ими лауреатом Леонидом Ильичем Брежневым. И если сегодня в Советском Союзе печатают книги Лидии Чуковской, Василия Гроссмана, издают полностью "Сандро из Чегема", восстанавливают в Союзе писателей Липкина и Лиснянскую, а за "Пушкинский дом" собираются дать Ленинскую премию, то это свидетельство происходящих перемен, а никак не уступок со стороны упомянутых литераторов.

Конечно, талантливый человек может порой сдаться, клюнуть на приманку легкой жизни, но в этом случае как художник он обречен. Примерам, как выражается Поповский, несть числа. Существует очевидный закон: литературные ремеслен-

ники творят ширпотреб и вознаграждаются по усердию, а талантливые писатели, прорываясь сквозь все запреты, с риском, порой со смертельным риском, создают настоящую литературу.

Для понимания того, что из себя представляет тот или иной советский литератор, не нужно подслушивать его беседы в кругу друзей или разузнавать детали его биографии, следует читать его книги. Книги не лгут. Талант — категория этическая, независимость и нравственность важнейшие ее составляющие. Об этом говорил Иосиф Бродский в своей Нобелевской лекции:

"Ибо эстетика — мать этики; понятие "хорошо" и "плохо" — понятия прежде всего эстетические... Дело не столько в том, что добродетель не является гарантией создания шедевра, сколько в том, что зло, особенно политическое, всегда плохой стилист. Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его царственный выбор, тем он свободнее — хотя, возможно, и не счастливее".

Совершенно иначе думает Марк Поповский:

"Каждый верующий знает простую истину: талант от Бога, а нравственность, поведение — это, извините, дело рук человеческих. Я — верующий".

Простенькая антиэстетическая вера Поповского позволяет ему не рассматривать книг, осуждаемых им советских писателей, а старательно выставлять им двойки за поведение на основании телефонных и иных частных разговоров.

Окололитературная сплетня — жанр не слишком достойный и пользоваться ею для установления моральных норм по меньшей мере странно. Пересказывать интимные разговоры на страницах газет без разрешения собеседника просто, как сказали бы в XIX веке, "непорядочно". Вот что писал 125 лет назад Н.С.Лесков:

"...могут порядочные люди разладить и во взглядах и в убеждениях и не только перестать любить один другого, а даже возненавидеть друг друга, но чтобы они, разойдясь, выводили на общественное позорище то, что кто у кого в прежних отношениях видел на столе или о чем друг с другом говорил по-приятельски, — этого порядочные люди позволять себе не могут".

Автор статьи "Через стекло" о подобных тонкостях даже не подозревает, ему и в голову не приходит, что он поступает неэтично. Но каждый рассказанный эпизод оборачивается против него самого.

Например, приехал в Нью-Йорк Фазиль Искандер и решил Марк Поповский "потолковать с добрым старым знакомым ... жили с ним в одном доме, люблю его книги, люблю его самого, познакомились почти 20 лет назад, подписывая вместе письмо в защиту Солженицына". Позвонил Поповский старому другу, договорились о встрече, разговорились о предстоящем выступлении, Искандер полушутливо заметил, что будет "говорить правду, только правду, но не всю правду. Всего пока говорить нельзя". И сразу пропала у Марка Александровича "охота принимать у себя блестящего писателя", зачислен друг в "литературные марионетки".

Я не стану вдаваться в философскую проблему существования полной и абсолютной истины, в вопрос о том, когда и как она была явлена. Но замечу, что легкость, с какой автор статьи расстается с другом, с которым некогда сидел в диссидентских окопах, свидетельствует, возможно, о его собственной душевной неполноценности.

Поповский приводит и другой эпизод. Лет 15 назад он беседовал с Булатом Окуджавой в доме творчества "Дубулты". Окуджава, по его словам, возмущался: "До каких пор!.. Роберт Рождественский и Андрей Вознесенский в Европе как у себя дома, денег полные карманы. А я уже десять лет таскаю вот этот свой кожаный пиджачишко... как собака на цепи, дальше Риги ни ногой".

Поповскому кажется, что он заклеил корыстолюбие завистливого поэта. В действительности, он разобрал самого себя. "Пиджачишко", "таскаю", "полны карманы", "собака на цепи" — это его стиль, его словарь, его способ передачи чужой речи. Чтобы не быть голословным, продолжу выписки слов и выражений из той же статьи. "В натуральную величину увидел", "со своими стихами прикатил" — это уже не Окуджава, а харьковский инженер с Брайтон Бич. "Маленький кафтанчик", "плевать хотели", "побрякивали цепями", "дубовые мужики", "тема обрыдла" и т.д. и т.п. Если стиль — это человек, то перед нами Марк Александрович собственной персоной. Не правда ли, реплики, приписанные им Окуджаве, чрезвычайно похожи на его собственные.

Чтобы подкрепить свои субъективные воспоминания чем-то объективным, Поповский ссылается на пятнадцатилетней давности письмо Окуджавы, напечатанное в Литгазете:

"Когда издательство "Посев" в Германии выпустило четыре книги его стихов, властям не стоило большого труда заставить Окуджаву опубликовать в "Литературной газете" письмо с проклятиями по адресу своих западных издателей".

А вот что по этому поводу рассказывала "Хроника текущих событий": "В начале апреля на партбюро секции поэзии Булату Окуджаве было предложено в письме в "Литературную газету" осудить факт публикации издательством "Посев" сборника его произведений (опубликованных за исключением, кажется, одного рассказа и в нашей стране). В конце концов договорились на том, что требуемое "осуждение" Окуджава сделает устно, на одном из писательских собраний.

Однако 1 июня на заседании парткома ССП СССР речь снова шла только о письме в газету. Окуджава отказался написать требуемое письмо. Партком единогласно исключил его из партии "за антипартийное поведение, выразившееся в отказе осудить факт публикации некоторых его произведений в западной прессе" (Выпуск 26, 5 июля 1972 г.).

И лишь через восемь месяцев после начала кампании Окуджаву вынудили пробормотать нечто неопределенное, осуждающее использование его имени в нелитературных целях. Вот полный текст этого письма:

"В течение ряда лет некоторые печатные органы за рубежом делают попытки использовать мое имя в своих далеко небескорыстных целях.

В связи с этим считаю необходимым сделать следующее заявление:

Критика моих отдельных произведений, касающаяся их содержания или литературных качеств, никогда не давала реального повода считать меня политически скомпрометированным, и поэтому любые печатные поползновения истолковать мое творчество во враждебном для нас духе и приспособить мое имя к интересам, не имеющим ничего общего с литературными, считаю абсолютно несостоятельными и оставляю таковые целиком на совести их авторов.

Б.Окуджава 18.11.72"

Нетрудно убедиться, что все утверждения Марка Поповского, мягко говоря, неверны. Издательство "Посев" не выпус-

кало 4-х книг стихов Окуджавы, а перепечатадо из советских изданий повесть "Будь здоров, школяр" (1964), опубликовало книгу "Два романа: Бедный Авросимов. Фотограф Жора" (1970) и сборник "Проза и поэзия" (1968). Хотя переиздание повестей, вышедших в СССР, – вопрос скорее коммерческий, чем политический, Окуджава никаких проклятий по адресу ограбивших его издателей не посылал, он их вообще не упоминал. Не соответствуют действительности и слова Поповского, что заставить Окуджаву написать письмо "не стоило большого труда". Стоило, как мы видим, немалого.

Из всех вынужденных протестов, появившихся в печати в то время, письмо Окуджавы было самым мягким по форме. Например, в том же номере Литгазеты (от 22 ноября 1972 года) напечатано письмо Анатолия Гладилина, ныне эмигранта, то есть, по меркам Поповского, человека глубоко нравственного:

"С удивлением узнал, что моя повесть "Прогноз на завтра" издана в ФРГ на русском языке /.../ Поступили сведения, что белоэмигрантская пресса, выдергивая отдельные цитаты и искажая смысл повести, использует мою книгу в целях, совершенно далеких от литературы. Я возмущен подобной провокацией. Мои книги не имеют ничего общего с политической игрой недругов нашей страны.

Анатолий Гладилин"

А чтобы дать читателю понять, как в действительности выглядели настоящие слова проклятья, приведу несколько фраз из письма несчастного тяжело больного Варлама Шаламова, которые теперь производят впечатление пародии на политический жаргон 30-х годов:

"...постыдная антисоветская деятельность ... подлый способ публикации, применяемый редакцией этих зловонных журнальчиков... Эта омерзительная змеиная практика господ из "Посева" и "Нового журнала" требует бича и клейма... Эти господа, пышущие ненавистью к нашей великой стране, ее народу, ее литературе, идут на любую провокацию, на любой шантаж, на любую клевету, чтобы опорочить, запятнать любое имя".

("Литературная газета", февраль 1972 г.)

Надо сказать, что отмежеваться от западных изданий заставили в те годы очень многих: Твардовского, Евгению Гинз-

бург, Владимира Войновича, Стругацких. Даже Е.С.Булгакова написала формальное письмо протеста против издания "Собачье сердце" в Париже. Людей этих можно и понять, и пожалеть. И странно, что у Марка Поповского поднимается сегодня рука бросить в них за это камень.

Но вернемся к тому вопросу, с которого мы начали эту статью. Почему же с точки зрения Поповского и его единомышленников опасно прибытие *аморальных* советских писателей за океан? Потому, что, по мнению М.А.Поповского, происходит двойной обман. Во-первых, они не говорят полной правды, то есть того, что Поповскому хотелось бы услышать от них. Вместо этого они лепечут что-то невнятное. Один (Заходер) "Бубнит что-то незначашее", другой (Нагибин) — "Я сам себе не могу ответить толком, что происходит... Мы ничего не знаем. Все это гадания на кофейной гуще". "Все их ответы (Чухонцева и Битова) вокруг да около, то отделяются они шуточками, то переходят в наступление, а потом снова, с уклончивыми и извиняющимися улыбочками, твердят: "Ну, вы ведь и сами понимаете"..."

Впрочем, дает нам понять Поповский, невразумительные ответы — не самое страшное. Хуже другое, самим фактом своего появления советские писатели создают иллюзию, что в СССР — серьезные перемены. Перемены и вправду происходят, но ведь наивные американцы, увидев столько звезд первой величины, могут подумать, что это действительно большие перемены; а хотя перемены, конечно, есть, но... "рассказать тебе сказку про белого бычка?"

Скажем прямо: американское общество не нуждается в поучениях, назойливо предлагаемых эмиграцией. Развитая демократическая культура, плюрализм и прагматизм американцев позволяют им ориентироваться в международной ситуации, вовремя менять руководителей, находить выход из трудных проблем. Америка нуждается в фактах, но легко обойдется без рекомендаций: кого звать, а кого не звать в гости.

Странное дело: пекутся о моральном облике советских гостей люди, которых читателям то и дело приходится поправлять, ловить за руку, стыдить. Тут Поповский, естественно, возразит: зачем же переходить на личности. ("Надеялся, я также, что, если возникнет дискуссия, она будет посвящена поднятой проблеме, а не моим личным качествам. К сожалению, мас-

терство диалога в среде бывших граждан СССР, по понятным причинам, не слишком развито” – “Давайте говорить по существу”. НРС, 24 июня 1988).

Обучая своих читателей “мастерству диалога”, Поповский пеняет им, что они не спросили редактора “Октября” Ананьева (который “несколько раз, с подчеркнутой обидой в голосе жаловался залу: вот он шел сюда с надеждой, что здесь мы все вместе обсудим судьбы народа, судьбы родины”): “Что именно побуждает Вас, Анатолий Андреевич, тиражировать свои сочинения в таком противоестественном количестве, любовь ли к родине или забота о благосостоянии советского народа? Поскольку в основе вопроса лежит подлинный факт, зафиксированный советской прессой (тираж произведений Ананьева составил за год миллион экземпляров по данным Л.Г. – С.М.), то ни о каком оскорблении личности говорить не приходится”, (НРС, 5 августа 1988).

Воспримем всерьез уроки Поповского и обратим к нему недоуменные вопросы по поводу неувязок с его собственными выступлениями (ведь и в этом случае “ни о каком оскорблении личности говорить не приходится”, поскольку речь идет только о твердо установленных фактах. Несколько лет назад в НРС было напечатано заявление читателя: последний возмущался, что под его именем опубликовано письмо, которого он никогда не писал. Выяснилось, что письмо сочинил Марк Поповский, который, оказывается, хотел таким способом *познакомиться* (!) с этим человеком. После этого имя Поповского на несколько лет исчезло со страниц газеты, но в последнее время то ли в связи с изменением в составе редакции (Поповский сообщает, что появились “молодые, накопившие творческий потенциал и не надеявшиеся состояться дома журналисты”), то ли потому, что не хватает сил для борьбы за нравственность, М. Поповский снова стал желанным автором.

Другой факт. Марк Поповский рассказал на страницах газеты, что “акт о месте погребения академика Вавилова, кроме *членов комиссии* подписали” такие-то. Членов комиссии было двое: проф. Ф.Х. Бахтеев и М.А. Поповский. Читатель Примак напомнил автору, что его подписи под актом на самом деле нет. Это, в свою очередь, вызвало бурный протест Поповского, он-де вообще не понимает о чем речь, ссылается на книги и документы, доказывая, что в комиссию он входил, можно сказать,

сам ее и организовал. Все может быть, но акт-то он не подписывал и, следовательно, должен был писать в единственном числе: "члена комиссии проф. Ф.Х.Бахтеева". Ошибка, возможно, невелика, мелочь, но странно: вместо того, чтобы признать ее и извиниться, Поповский обрушивается на тех, кто поймал его за руку. Это симптоматично.

В борьбе за высокие моральные нормы для советских писателей пренебрегает точными фактами и израильский журналист Шимон Черток. В пафосе разоблачений он сообщил, что ныне, мол, знаменитый Анатолий Рыбаков выступал на собрании по поводу исключения Пастернака из Союза писателей. Когда читатели отметили, что это не так и что такое обвинение на Западе считается клеветой, диффамацией, у Чертока нашлись энергичные защитники, доказывавшие, что тот ошибся лишь формально, но "не по существу". Рыбаков, мол, исключал, если не Пастернака, то Войновича. Когда оказалось, что и Войновича не исключал, то заявили, что все равно плохой — "Чонкина" ругал и вообще — советский писатель.

Почему же все-таки не покладая рук борются за нравственность других Поповский и Черток, и почему мишенью для них служат Окуджава, Битов, Искандер — лучшие из лучших, любимые нами авторы? Мне кажется, я набрел на ответ, перебирая подшивки старых газет в поисках письма Окуджавы. Пожелтевшие страницы сохраняют сотни разнообразных верно-подданнических публикаций нынешних ревнителей нравственности. Марк Поповский в био-библиографическом словаре (Нью-Йорк, 1987) не без гордости сообщает, что за 20 лет (1953—1973) опубликовал в советской печати 14 книг и более 700 статей, то есть практически почти по статье в неделю. Семен (Шимон) Черток просто не в силах сосчитать бесконечное множество заметок, разбросанных им по просторам советской прессы — от захудалой "Советской литературы на иностранных языках" до "Правды", что само по себе уже свидетельствует о многом. Людей, знающих по собственному опыту, что значит ходить в упряжке, не может не раздражать человек независимый и свободный.

Я бы назвал это комплексом Сальери. Новейший Сальери сменил место жительства, красуется первым парнем в эмигрантской деревне, и вдруг непрошенные визитеры отбивают внимание публики. Что же это вы, братья и сестры, собствен-

ных родных эмигрантских лауреатов не почитаете?! На наши концерты не ходите, а на ихних рыдаете. Забыли, где ваше новое отечество?

Борцы за бескорыстие и нравственность других не рассказывают нам о своих имущественных делах, справедливо полагая это личным делом, но, как ни странно, немало внимания уделяют багажу, увозимому на родину советскими туристами.

”Для совписа это шанс посетить царство изобилия (шуба для жены, электроника для себя), наведаться к запретному (что там на Пляс Пигаль?)” (Поповский. Через стекло).

”Не забывают запастись на гнилом Западе различным дефицитом на все случаи жизни”. (Максимов. В дыму отечества.)

”Валом велят родственники из-за океана, чтобы вернуться потом на ”Родину” вооруженными до зубов ”какордерами”, видеомагнитофонами СЕКАМ, магнитофонами с двойной декой, чтобы там все это счастливо реализовать... уже вздымается вихрь пошлости, мерзкого копошения на предмет отоваривания ошалелых от Америки гомо-советикусов” (Марк Иоффе).

Однако досмотр личного багажа на газетной таможне — процедура неприятная, но малозначительная.

Наиболее серьезной претензией эмиграции является требование признания ее заслуг (личных и коллективных). Отъезд из СССР рассматривается в этих пределах как акт борьбы, как отчаянное сопротивление режиму, а оставшиеся в стране тем самым становятся людьми, не совершившими столь героического поступка. По словам Максимова, Георгий Владимов сказал:

”Это не мы, а они бросили страну в самую лихую для нее пору. Бросили даже не выезжая никуда” (НРС, 23 апреля 1988 г.).

Владимов прав, если речь идет о Михалкове и Карпове, но ошибается, если имеет в виду Битова и Окуджаву. Нет единого антиэмигрантского ”они”.

”Задолго до эпохи гласности рассказал правду о Гражданской войне Борис Пастернак, осмелел пошлость и подлость, совершавшиеся советским начальством в годы войны, Владимир Войнович. Правдивое слово о советском рае сказали и Василий

Аксенов, и Юз Алешковский. О бездарности советской экономики читатель может узнать из книги Игоря Ефимова "Без буржуев". О лагерных мерзостях сообщил в книге "Зона" Сергей Довлатов, жизнь кремлевцев заголил со всей откровенностью Борис Бочштейн в книге "Занимательная кремленология". Да всех предшественников Горбачева и не перечислишь. Позволю в этом контексте напомнить и о некоторых моих книгах, где разоблачался аморализм в недрах советской науки ("Управляемая наука"), бедствия русской церкви ("Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга"), трагедию русского крестьянства ("Русские мужики рассказывают...") и т.д.

Очевидно, сегодня, в пору свершаемой сверху революции, самое время взять да и сказать спасибо всем тем, кто с риском для своей жизни и свободы первым заговорил о язвах государства и страданиях народных."

(Марк Поповский. "Панорама", 29 июля 1988 г.)

"У них революция? Если у них революция, отчего для нас, тех, кто оказался здесь далеко не по своей воле, ничего не меняется?! Почему с нами продолжают говорить тем же языком и относиться так же, как относились раньше, если не хуже? Кому же и чему же нам после этого аплодировать? Вам хорошо? Замечательно! За свои аплодисменты вы ответите сами, – возможно головой... Но только не обязывайте нас восторгаться вместе с нами. (Так в тексте, вероятно, автор хотел сказать "вместе с вами", – С.М.) Это было бы слишком". (Беседа с Владимиром Максимовым. НРС, 27 мая 1988).

"Думается, что советским официальным писателям не стоило бы раздумывать, каких эмигрантов они должны похвалить, а каких – обругать. Все же пострадавшие за идею имеют больше прав на суждение о сегодняшнем дне, чем те, кто жил, говоря словами великого сатирика, "применительно к подлости" (Герман Андреев. "Русская мысль", 29 июня 1988).

Правда, у некоторых активных сторонников "гласности" Андреев находит в биографии смягчающие обстоятельства и советует снизить до беседы с ними. "Вот почему такие деятели советской культуры, как, например, Игорь Виноградов, Бенедикт Сарнов, Станислав Рассадин, Юрий Черниченко, Фазиль

Искандер, Василий Селюнин и близкие к ним, могут на равных говорить с эмигрантами: они и в период застоя сохраняли "осанку благородства". А если их не посадили или не вынудили к эмиграции, то это лишь следствие, в основном, чистой случайности или же умелой тактики, что никак нельзя путать с приспособленчеством" (Андреев, там же).

Все это печально. И только подтверждает общее мнение, что, оказавшись в эмиграции — любой, — люди зачастую живут по смещенной шкале времени. Авторам выше цитированных статей мерещится, что пришел час раздачи орденов, и они стремятся напомнить о своих героических делах и непреходящих заслугах. Однако жизнь жестче. Страна оказалась на краю пропасти, и необходимы усилия, огромное напряжение сил, чтобы ее от этого края отвести. Сегодня необходимы сегодняшние слова и сегодняшние дела, а не напоминание о своих прошлых заслугах. Кто, что и когда сделал, рассудит история, пока же идет бой, и в нем можно участвовать, а можно уклониться. Эмиграцию можно сравнить с содружеством ветеранов, в которое, правда, затесалось немало и обыкновенных дезертиров, недоверчиво рассматривающих новых бойцов: "А где же это вы раньше были?" Вопрос, который нелепо обращать к пополнению во время битвы.

Я постоянно вспоминаю сказку В.Гаршина о лягушке-путешественнице. Да, именно она изобрела восхитивший людей способ передвижения. Но несвоевременное желание утвердить свой приоритет (Это я придумала! Это я придумала!) помешало лягушке-эмигрантке добраться до цели.

Характерно, что у гостей из СССР, как правило, более серьезная, более достойная позиция. (Я, конечно, говорю не о всех, а именно о тех, кто подвергался нападкам Поповского и компании). Игорь Виноградов говорил:

"Я считаю, что нам надо отбросить взаимные обиды, взаимное недоверие и исходить из главного — у нас одна родина, мы все хотим, чтобы она выбралась из того тяжелого положения, в котором оказалась, чтобы осуществились наши надежды на настоящую перестройку.

Я уверен, что подавляющая часть думающей эмиграции (я встречался здесь с очень многими и самыми разными людьми) — исходит из этого. А раз так, то самое главное для нас сейчас

— это попытка преодолеть возникший барьер и понять, что мы действительно должны делать одно общее дело. И если такая направленность с обеих сторон будет, я думаю, что все мелкие (и даже не очень мелкие) недоразумения, обиды, расхождения — все это уйдет в прошлое. И мы сможем наладить сотрудничество” (“Русская мысль”, 24 июня 1988).

Эмиграция — понятие пространственное, а не нравственное. Да, жизнь развела Синявского и Даниэля по разным странам, но их этическая позиция остается общей, и она противостоит позиции доносчика Хмельницкого и его пособника Воронеля, хотя нынче и тот и другой эмигранты. Я думаю, что взгляды и убеждения Александра Солженицына намного ближе к взглядам и этическим принципам Игоря Шафаревича, живущего в Москве, чем к позиции Марка Поповского, обитающего в Нью-Йорке. Нет особой эмигрантской родины со своими доморощенными пророками и посредственными, зато собственными писателями. Бродский противостоит Вознесенскому не потому, что Бродский поэт эмиграции, а Вознесенский живет в Москве, а как поэт настоящий — поэту фиктивному. Галич, Окуджава и Высоцкий не разделяются по прописке и равно противостоят и Людмиле Зыкиной и “незабываемой Марианне”, выступающей в “современном, фешенебельном, в старинном русском стиле, ресторане “Россия”, в Бруклине на Нептун-авеню. Честные книги Поповского противостоят бесчестным книгам того же автора. Каждый отвечает за сказанное и сделанное им. И, опираясь на факты, читатель вправе спросить и о тиражах книг, и о похвалах в адрес Лысенко, и о любых уступках и проступках, совершенных писателем в прошлом. Это относится ко всем авторам, независимо от места жительства. Мы должны научиться отвечать за свое прошлое, хотя, конечно, не следует злоупотреблять подобными вопросами, помня о сроке давности, и не стремиться к самоутверждению за счет разоблачений других, если мы действительно желаем изменения морального климата в стране.

У нас одна родина (за исключением тех, кто считают себя уже гражданами тех стран, в которых ныне живут, — на что, несомненно, имеют право). У нас одна мораль, которая не совпадает с государственными границами. У нас одна культура, противостоящая антикультуре, но она не делится на советскую и эмигрантскую.

Вернемся теперь к нашим гостям из СССР. Не будем досматривать, что они увозят в чемоданах, не будем иронизировать по поводу посещения Пляс Пигаль. Мы в свободной стране, где не принято вторгаться в частную жизнь частного человека. Простим им и не слишком уверенные выступления относительно перспектив перестройки, поскольку будущее и вправду не очевидно. Остается лишь один критерий, по которому только и следует судить о художнике, — его творчество. Если, вернувшись из-за рубежа, поэт отчитывается верноподданническими стихами о преимуществах своего отечества и спешит с обличением чужой страны — совершенно очевидно, он отработывает поездку. Если же заграничные впечатления способствуют, в какой-то мере, возникновению новых настоящих произведений, то мы все, читатели, в метрополии и в зарубежье, оказываемся в выигрыше. Мое знакомство с Америкой произошло в годы самой оголтелой антиамериканской пропаганды по случайно попавшей в руки потрепанной книжке Ильфа и Петрова "Одноэтажная Америка", и я до сих пор вспоминаю ее с благодарностью.

Говоря о поездках писателей, не следует забывать о литературных контактах. Так, результатом пребывания Чухонцева и Битова в США была не только беседа с Поповским, разочаровавшая, как видно, обе стороны, но и встреча с Бродским, завершившаяся появлением стихов последнего в "Новом мире". Это возвращение большого поэта к читателям поистине трудно переоценить.

Совсем недавно в Бари (Италия) состоялась конференция по Мандельштаму. Вот где поистине не было предпочтения ни эллину ни иудею. Выступали Вячеслав Иванов (Москва), Александр Жолковский (США), Ефим Эткинд (Париж), Александр Кушнер (Ленинград), Виктория Швейцер (США), Зиновий Паперный (Москва) и другие европейские, американские, израильские, советские — русские ученые.

Подведем некоторые итоги. В наше время железный занавес штыков и лозунгов становится все более проницаемым. Дипломаты, писатели и даже бывшие эмигранты перемещаются и проходят сквозь него довольно свободно. Возможность ездить, смотреть, слушать разрушает десятилетиями складывавшиеся мифы. И это прекрасно. На свободу передвижения не должно быть никаких ограничений. Пусть наступит наконец время, ко-

гда любой житель СССР сможет поехать в США, и никто, ни там, ни здесь не будет его поучать, допрашивать с пристрастием, что он думает по поводу перестройки или чего другого, ставить отметки за поведение. Мы видим, что в последнее время пути ОВИРа и других ведомств слабеют, и слава Богу.

Пусть поедет в Ленинград Иосиф Бродский, если он решится на этот возврат в прошлое. Пусть друзья Ларисы Богораз или гарвардские профессора пригласят ее в США. Пусть братья Гудава позовут Мераба Коставу и Звиада Гамсахурдию, но пусть только они не считают, что этим исчерпывается "настоящий обмен людьми и идеями". Одни эмигранты в Бостоне с удовольствием послушают стихи Кушнера, а другие, возможно, предпочтут задать Гамсахурдия приятные и неприятные вопросы. Все эти желания законны, а главное, сейчас становятся реальными.

Каждый человек должен иметь возможность увидеть мир, но для писателя это важно в квадрате. Не только потому, что смотреть для него, в некотором роде, профессиональное занятие, но и потому, что на разных материках живут его читатели — его друзья и судьбы. Встреча автора с читателем — это часть литературной жизни, нередко она становится праздником. Год назад в набитом до отказа зале Хантер-колледжа тысячи людей встали, приветствуя Булата Окуджаву, демонстрируя свою любовь, радость от состоявшейся встречи. Их аплодисменты служат ответом всем, кто хотел бы нам помешать, всем, кто хочет разделить на части единую русскую литературу, надеясь таким путем занять чье-либо освободившееся место, всем политическим спекулянтам от Москвы до Нью-Йорка. Я думаю, что рано или поздно наш ответ дойдет до них.



А. Кустарев

## ПОХВАЛА В ОБЩЕСТВЕ

Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.

*Крылов*

Давайте говорить друг другу комплименты.

*Окуджава*

Чтобы тебя уважали, надо жить среди уважаемых людей.

*Лабрюйер*

Ты меня уважаешь, я тебя уважаю: мы с тобой уважаемые люди.

*Райкин*

Социальное поведение – это обмен благами. Материальными благами, но не обязательно. Это могут быть также символы одобрения и престижа. Люди, которые дают много другим, стараются и получить от других как можно больше. А люди, которые много получают от других, находятся под давлением – от них тоже много ждут.

*Дж.К. Хоманс*

Мы начнем наши рассуждения с комментария к этим эпиграфам. Первый эпиграф известен каждому русскому школьнику. На что намекает Крылов? – спрашивает учительница. Мы должны ответить: Крылов хочет сказать, что кукушка не стала бы хвалить петуха, если бы петух не хвалил ее.

Легко заметить, что смысл крыловского резюме самоочевиден. Заключительная сентенция басни Крылова абсолютно равна самой себе; настолько, что не может быть пересказана другими словами. Так что взятая отдельно, она практически утрачивает информативность. Тем не менее, она всегда достав-

ляла нам много — несколько самодовольной — радости. Почему?

Вспомним теперь всю басню. Из ее основного текста нам известно, что кукушка и петух пытаются петь. В то же время, из жизни нам "известно", что они петь не умеют. Ситуация, таким образом, пикантна. Не умея петь ("заведомо"), петух и кукушка лгут друг другу.

Мораль басни в том, что два бездарных существа произносят дру другу неоправданные похвалы, и *это нехорошо так делать*.

И.А.Крылов не был бы моралистом начала прошлого века, если бы не приглашал нас к этому выводу.



Но пойдем дальше. Моралист середины XX века Окуджава приглашает нас как раз к тому, от чего дедушка Крылов предостерегал. Давайте делать друг другу комплименты. За что? Ах, неважно? Просто так? Давайте вести себя как петух с кукушкой? Чего ради?

Или Окуджава не читал басни Крылова и не знает, что так поступать нехорошо? Или он убежден, что мы все очень, очень талантливые, и взаимные комплименты просто воздадут нам всем должное? Кукушка с петухом, дескать, были не в своем праве, но ведь мы же не кукушки и петухи, а, наоборот, соловьи и канарейки?

Я не могу избежать соблазна такой интерпретации (во мне еще слишком много филистерского рационализма — как-никак в школе меня обучали Крылову, а не Окуджаве). Но, зная, в каких условиях возник вопль Окуджавы, я все же обязан проявить и сочувственное понимание. Тем более, что это окажется важным для понимания проблемы, о которой мы собрались толковать.

Вопль Окуджавы — это вопль человеческой души. Осажденная враждебными силами, еле живая, она просит любви. У кого ничего нет, кроме шалаша, должен прибегнуть к последнему и общедоступному средству обеспечить себе некоторый экзистенциальный комфорт — к любви и дружбе. Братья, возлюбим друг друга.

Позыв естественный. Призыв специфический. Хочешь любви или комплиментов? Или это одно и то же? Комплимент, вообще говоря, символ любви? Что же — символ равен тому, что он символизирует?

Покинем на этом "ученом" и провокационном вопросе арбатское ристалище любви и морали.



Лабрюйер, в отличие от Окуджавы, не лирик. Он был, конечно, моралист, как и Крылов, но не был пиетистом-мещанином. Он принадлежал к Обществу. Он не взыскует и не судит, а дает точное описание ситуации и совет опытного человека.

Лабрюйеру безразлично, кто кукушка и кто соловей. Он подчеркивает совсем другую сторону дела. Он напоминает: авторитет — коллективное достояние. Он переносится. Например, с салона, в котором ты бываешь, на тебя самого. С института, где ты работаешь, на тебя самого. Со страны, где живешь, на тебя самого. С культа, который ты отправляешь, на тебя самого. Оригинального авторитета не бывает. Сам по себе авторитет — только Господь Бог. Все остальные авторитеты — отраженные, перенесенные, заимствованные, присвоенные.



Переплюнул всех неизвестный (мне) автор исполнявшейся Райкиным миниатюры. В ней поразительно много смысла.

В ней (на таком малом пространстве, кто бы мог подумать!) сидят и Крылов, и Окуджава, и сбоку (хотя и извне) прилепился Лабрюйер. Все-таки прошла куча времени и мир человеческих переживаний сильно эмансипировался. Вместо безличной формы у Лабрюйера здесь появляются "я" и "ты" — личность осознала себя.

Во-первых, в отличие от Крылова и Лабрюйера, это не суждение о ситуации, а сама ситуация: кукушка и петух, несомненно под влиянием Достоевского и экзистенциализма (через автора), реализуют права человека на самоутверждение.

В-третьих, в отличие от максимы Лабрюйера, герои этой миниатюры думают не столько об уважении третьих лиц, сколько о самоуважении: им, кажется, вполне достаточно того, что они уважают друг друга. Они делают как раз то, к чему с такой трогательной тихой китайской настойчивостью (вспомним его манеру петь) призывает лирик Окуджава.

Впрочем, изоляционизм этой пары вполне иллюзорен. Опыт учит нас, что за консолидацией всегда следует экспансия. Импералистический дух присущ любой группе, даже самой

маленькой; просто он реализуется в одном случае из ста.

И участники любовно-комплиментарной пары должны сильно чувствовать: ни один из них не добьется уважения посторонних, если они не будут уважать друг друга, или, по крайней мере, продемонстрировать взаимное уважение: сила в единении.



Последний эпиграф взят из теории "социального поведения как обмена". Ее основоположник — Джордж Каспар Хоманс, американский социолог. Формула, которую мы цитируем, покрывает всю ту действительность, все те аспекты человеческих отношений, о которых на разные лады говорят Крылов, Окуджава, Лабрюйер и Райкин.

Поэтому она выглядит так бледно и банально. В ней нет ни кукушек, ни соловьев, ни **Общественности**, ни "я" и "ты"... Ни морального резюме, ни приглашения к любви (комплиментам), ни скептического совета юнцам, борющимся за светское признание, ни наивного самодовольства объединившейся в пароксизме взаимного уважения пары... Ничего...

Между тем, на самом деле здесь есть всё. На самом деле эта формула описывает ту совершенно элементарную реальность, на которую столь различно реагируют моралисты всех времен и стилей.



Человек — политическое животное, учат учебники. Человек — существо словесное, учат другие. Вербальное поведение политично. Сказанное людьми редко бывает невинно, в том смысле, что экономически бесцельно, то есть не преследует никакой выгоды говорящего. Произнося слова, человек наживает себе социальный капитал, поскольку "слова и выражения", "интонации" имеют "статусный вес".

Как хорошо известно психиатрам, а от них и широкой публике, в принципе любой "образ" может вызвать сексуальные ассоциации. То же самое происходит и со статусными ассоциациями. Впрочем, у каждой среды они свои собственные и чужеземцам не понятны. Слово "окей" в разговоре двух американцев нейтрально. В разговоре же двух советских подростков, официантов или литературоведов оно может иметь весьма высокий статусный вес. Слово "Ахматова" оставит швейцарца или

папуаса глухими. В разговоре же двух ленинградцев оно послужит сигналом, статусный смысл которого безошибочно улавливается обоими.

Так дело обстоит, конечно, лишь в принципе. Коммуникация преследует, разумеется, не только статусные цели. Статусный оттенок может быть вообще побочным в разговоре. Но в некоторых случаях заявка на статус — самая суть говоримого. И это случается достаточно часто, гораздо чаще, чем может показаться на первый взгляд. Во всяком случае, достаточно часто, чтобы видеть в этом социальное явление, связанное с другими социальными явлениями, включая элементы общественной структуры.

Статусная политика может осуществляться в разговоре по-разному и с разными политическими целями. Одна из форм такого говорения — "похвала".



Практика взаимных похвал осмыслена двояко. Во-первых, она поддерживает самооценку коллектива. Всякому коллективу приятно думать, что он объединяет самых родовитых, самых талантливых, самых порядочных — короче, самых "лучших" в зависимости от критериев, которые коллектив выбирает (более точно — имеет возможность выбрать) для самооценки.

Во-вторых, взаимные похвалы попросту интегрируют коллектив, привязывая людей друг к другу взаимной благодарностью за взаимное признание.

В идеале каждый коллектив порождает равномерный круговой поток похвал. Находясь в струях этого потока, каждый получает ровно столько похвал, сколько раздает.

Но другая особенность идеального сообщества это — нерасчлененность материальной и символической стороны обмена. Иначе говоря, обмен "материальными благами" и "символами престижа", о которых Дж.К.Хоманс (см. наш последний эпиграф) говорит как о двух разных возможностях, идут рука об руку, в одном акте.

Более или менее так обстоит дело в "примитивных" сообществах. В них обмен благами происходит, как правило, в форме дарения. В принципе, если вам дарят кусок мяса или отрез шкуры, это уже похвала. Но этого "примитивным" мало. Акт

дарения сопровождается комплиментарным ритуалом, нагружен символикой взаимного уважения.

Зачем она нужна и нужна ли вообще? За этим вопросом легко разглядеть проблему, которая в спекулятивной философии приобрела несколько одиозных вариантов, а именно: что "первее" — курица или яйцо? вещь или слово? "базис" или "надстройка"? "органика" или "суперорганика"?

Соблазнительно, конечно, утверждать, что кусок мяса, который вам дают, для вас важнее, чем танец уважения, который при этом исполняет дающий. Но не исключено — даже в тех случаях, когда мясо "дефицитно" — что именно символика поддерживает всю систему взаимных дарений и что без этой "духовной" составляющей общение между людьми развалилось бы; это и имеет в виду знаменитая народная мудрость, настаивающая, что "не хлебом единым" существует человек. Возможно, так оно и есть. Во всяком случае, наблюдения за примитивными обществами, где "духовное" резко перевешивает "материальное" в повседневной жизни, дают достаточно эмпирических оснований для того предпочтения, которое отдают "надстройке", "духовному", "символам", "комплиментам" упорные идеалисты.

Даже если привычка к взаимным похвалам это просто привычка, то это настолько глубоко укоренившаяся привычка, что можно практически считать ее в природе человека. Не зря, опять же, народная мудрость провозглашает, что привычка — это вторая натура. Может быть, и не первая, а вторая, но — натура.

Все это для нас весьма важно помнить, коль скоро мы собираемся не морализировать, а выяснять, что собственно происходит. Происходит же вот что.



Происходит следующее. В "идеальном" случае, как мы говорили, реальные взаимные услуги, во-первых, слиты с комплиментами, а, во-вторых, поток и тех и других равномерен. Близки к идеалу "примитивные" общества, но идеал разрушается. Обмен реальными ценностями и обмен символическими благами отрываются друг от друга. Их потоки перестают быть равномерными.

Почему это происходит, так сказать, "в конечном счете",

нам выяснить не под силу. Мы ограничимся тем, что обрисуем происходящее в иных аспектах.

Во-первых, нетрудно заметить, что идеальная ситуация имеет шансы сохраниться только в изолированном коллективе. Больше того, вообще само представление об "идеальном" потоке похвал уместно прилагать только к отношениям внутри коллектива. Внутри коллектива люди любят и хвалят друг друга. Это так и должно быть; во многих случаях люди, собственно, и объединяются на основе взаимной любви и лести.

Но общество это не коллектив, а коллекция коллективов. И вот в отношениях между коллективами любви и комплиментов нет. Коллективы — ксенофобны. В особенности когда на очереди слияние двух коллективов в один — неважно по какой практической рациональной надобности. В процессе слияния неизбежно встает вопрос: чья система и стиль похвал должны быть приняты обоими? Это как с языком: двуглавному этносу предстоит решать, чей язык главнее. Когда неизбежна чья-то культурная ассимиляция, возникает тенденция к иерархии символов, если и не к уничтожению каких-то из них.

Во-вторых, в другом плане, и внутри коллектива, особенно, если он весьма велик, идеал не сохраняется. Рост производства и материального богатства сопровождается (опять не будем спрашивать почему) нарушением равномерности потока материальных благ. Они накапливаются в чьих-то руках. В тех же руках собираются и символы уважения. Точно так же, как деньги идут к деньгам, похвалы идут к деньгам и к похвалам. Это происходит в той мере, в какой символы вещей привязаны к самим вещам.

Но в том-то и дело, что символы могут вести независимое существование и в известном смысле сами быть "вещами".

И в силу этого, в-третьих, когда неравномерность распределения материальных благ становится особенно заметной и начинает давить на сознание обездоленных, среди обездоленных возникает компенсаторный импульс. Те, у кого нет мяса, начинают просто обмениваться похвалами, нагнетать взаимное уважение.



Похвала может быть выражена "прямо", то есть "в лицо" и "открыто", то есть буквально. Часто так и делается. Вот классический образец: "Ты меня уважаешь? Я тебя уважаю. А ты

меня уважаешь?" К такому диалогу часто приходят пьяные люди в конце сессии, когда их мозговая деятельность уже сильно ослабела. Их взаимный танец вырождается в это незамысловатое па-де-де, обнажая сущность того, чем они занимались и до сих пор.

Но такая "прямая" и "буквальная" похвала не может иметь серьезных общественных последствий, как вообще все "прямое" и "буквальное". Она хороша для моментального гедонистического акта — и только. Поэтому нас интересует гораздо больше "косвенная" и "иносказательная" похвала.

Во многих случаях для произнесения похвалы прибегают к разным лингвистическим уловкам, символам второго порядка и сигналам-паролям. Но я оставляю теперь увлекательную тему "не-буквальной", иносказательной похвалы.

На этот раз займемся темой "не-прямой", косвенной похвалы, то есть ситуацией, когда в акте похвалы участвует "третий".

Случай, который я собираюсь рассмотреть, имея в виду все сказанное раньше, классический и у всех на виду. Это случай восхваления готового авторитета. Обычно в нем не видят ничего, кроме элементарного "подхалимажа". И, вполне в традиции чистого морализаторства, осуждают "подхалима". Унижающий ярлык подхалима в таких случаях получают, разумеется, те, кто хвалит "не нашего"; на "нас" это морализаторство не распространяется.

Но меня не интересуют "негодники": я не Крылов. Меня интересует, как упорядочена общественная практика и жизнь культуры, а в данном случае, какую роль в упорядочении общественной практики и жизни культуры играет акт похвалы.



...Пусть Александр Сергеевич Пушкин великий поэт, но почему мы должны слушаться тех, кто божится его бессмертным именем? Они-то, прости Господи, кто такие?

Ситуация Пушкина в нашей культуре не уникальна. Есть много других похожих: Достоевский, Мандельштам, Булгаков, Солженицын, Бродский — вокруг них (или их "душ") сложились весьма влиятельные социо-культурные и культурно-политические силы, эффективно претендующие на господство во всем обществе или в какой-то сфере общественной активности

(например, изящной словесности), или в каком-то секторе общественной сцены (например, в диссидентском салоне или в русскоязычной общине за рубежом).

Все эти группы — группы восхвалителей по существу. Но я хочу обратить внимание не на людей, которые хвалят, а на то, что вместе они — социальные группы, и, таким образом, они "делают" структуру общества.

Происшедшее и происходящее в русском обществе с "Пушкиным" — идеальная и, кажется, все превосходящая ситуация. В силу ряда обстоятельств, лишь до некоторой степени связанных с продуктом его творчества, Пушкин стал классическим ресурсом для приобретения вторичного авторитета, самовосхваления и выражения взаимного уважения, а также социальным интегратором. Он стал тем популярным "третьим", превознося которого, участники коммуникации, обеспечивают себе все то, что им полагается получить согласно теории социального поведения как обмена.

Чтобы посмотреть, как это получается, введем "Пушкина" в наши эпиграфы.

Крыловское резюме будет выглядеть так: "Кукушка хвалит "Пушкина" в разговоре с петухом, и петух в ответ тоже хвалит "Пушкина". Или: "Кукушка дарит петуху похвалу "Пушкину", и за это петух дарит кукушке похвалу "Пушкину".

Вопль Окуджавы будет выглядеть так: "Давайте говорить друг для друга комплименты "Пушкину".

Максима Лабрюйера приобретет вид: "Чтобы тебя уважали, ты должен быть на короткой ноге с "Пушкиным". (Нетрудно вспомнить, что именно к этой стратегии прибежал еще Хлестаков).

Миниатюра Райкина преобразуется следующим образом: "Ты уважаешь "Пушкина", я уважаю "Пушкина": мы с тобой уважаемые люди".

Теорему Хоманса преобразовать не удастся. По той простой причине, что она сама "преобразователь": мы ввели "третьего" во все остальные формулы, исходя из соображений, поданных этой теоремой.



Итак, Пушкин стал "Пушкиным", то есть ресурсом самоуважения и взаимного уважения напоказ. А раз он стал ре-

сурсом, то он неизбежно становится объектом борьбы. Эта борьба прошла две исторические фазы.

Первую ее фазу можно назвать классовой борьбой. В ней была подвергнута сомнению неоспоримость авторитета Пушкина, иначе говоря, его репутация как ресурса вторичного авторитета. Эта фаза, кажется, началась в преддверии Революции и была очень горячей сразу после Революции.

Известная ее трактовка выглядит так. Это была борьба вкусов, но не просто вкусов, а "классово обусловленных" вкусов. Для ставших грамотными восходящих социальных классов эстетика Пушкина и тех, кто считал себя ее носителями, была мало понятна, неприятна и трудно реализуема с помощью того языка, которым они фактически владели. Они пытались, отчасти интуитивно, отчасти следуя предложенным (марксистами) рецептам, создать собственную эстетику.

Но тут столкнулись не просто две эстетики. Чуждые друг другу эстетики вполне могут мирно сосуществовать, не обращая друг на друга внимания, — каждая в своей социо-культурной среде. Борьба шла за господство и была не просто борьбой "классовых вкусов".

В свете того, что говорилось раньше, можно говорить не о борьбе "классовых вкусов", а о борьбе "вкусовых классов", то есть двух достаточно сплоченных групп, претендовавших на господство на основе собственных "объектов похвалы".

Артистическая элита восхожденцев столкнулась с сопротивлением установившейся элиты, которая базировалась на ритуальном восхвалении "Пушкина". Противник, подымавший голову в борьбе за авторитет, поэтому приступил к унижению "Пушкина".

Хвалители Пушкина, до сих пор благополучно жившие с него, отвечали на это усиленным славословием объекту своего профессионально-сословного культа и снобистским дезавуированием "босяков", "черни", "мелких завистников" и так далее.

Исход этой борьбы не смогла бы предсказать традиционная марксистская концепция "классовой эстетики". Случилось же вот что: победил старый авторитет и новые претенденты. Старые владельцы частично вымерли сами, частично были рассеяны в диаспоре Гулага, а их остатки интегрировались в победившую группу, которой они, кстати, оказались нужны как "старшцы".

Такой исход может быть объяснен перерождением пролетарской марксистской идеологии в националистическую, если такое перерождение действительно имело место. Но это не вполне ясно.

Поэтому наряду с таким предположительным объяснением возможно и другое, тоже пока, вполне естественно, предположительное. А именно: эстетика была тут вообще сбоку припека. Борьба фиксировалась в эстетическом жаргоне, но подлинной ставкой был источник авторитета. Оказалось проще присвоить готовый авторитет, чем создать новый, что и было по ходу дела учуяно.

Оба эти предположительных объяснения, между прочим, можно соединить в одно, и, скорее всего, так и придется позднее сделать. Но я предпочту сейчас второе объяснение хотя бы просто потому, что первое объяснение уже неоднократно выдвигалось (хотя, как правило, в другой связи). И даже если первое объяснение верно, второе объяснение бросает сильный свет на "механизм" перерождения советской культуры, над чем раньше не задумывались. А механизм эволюции культуры не менее важная сторона процесса, чем сущность эволюционного изменения, поскольку именно обсуждая механизм, мы задумываемся над тем, кто был агентом процесса.

Первая фаза борьбы вокруг "Пушкина" была, таким образом, борьбой "за" и "против" Пушкина. Лишь когда она завершилась, стало ясно, чем она на самом деле оказалась: она оказалась борьбой за контроль над готовым авторитетом.

Вторая же фаза этой борьбы с самого начала велась как борьба за контроль. Во второй фазе уже никто не оспаривает авторитет Пушкина и не выдвигает новый культ. "Текущие" объекты культа уже не противопоставляются ему, а, наоборот, настойчиво к нему "привязываются" или сами себя "привязывают". Темпераментная и бесхитростная Цветаева так прямо и говорила "Мой Пушкин", не замечая семантической неразрешенности слова "мой", которая делает ее решительную заявку столь пикантной.

Все наперебой торопятся рассказать публике о своих интимных спиритических сеясах с Пушкиным; новых претендентов на поэтический престол услужливые интерпретаторы именуют "вторыми Пушкиными" или "Пушкинами нашей эпохи".

Атака идет не на сам авторитет, а на старую когорту жрецов. Вопрос ставится так: кто имеет на Пушкина "моральные" и "эстетические" права? При этом имеется в виду даже не оригинальная специфика морали и эстетики, а их, так сказать, "качество"; иными словами, чей моральный и эстетический уровень выше, чтобы претендовать на данную собственность? Или, как сказали бы мы: кто имеет на "Пушкина" имущественные права — кто имеет право на глазах у публики хвалить "Пушкина" или, что то же самое, похвалиться "Пушкиным"?

"Передовой отряд" так называемой оппозиционной культуры в советском обществе объявляет себя подлинным наследником Пушкина, отвергая притязания на него официального литературного корпуса, который есть то ли советская культур-буржуазия, то ли антисоветская культур-буржуазия, то ли профессионально-цеховая монополия, то ли жреческое сословие (в "универсальном" советском обществе скорее всего — каждого понемногу).



Итак, культ укреплен. "Оппозиционная" культура оказывается в нем заинтересованной даже гораздо больше, чем "официальная". В свете некоторых наших предыдущих рассуждений это кажется естественным. Официальное советское литературное сословие, как и всякое зрелое и даже перезревшее сословие, создало собственную внутреннюю бюрократию, господствует, опираясь на ее административно-политическое могущество и теряет эмоциональную привязанность к объекту культа.

Теневое же литературное сословие не имеет ничего, кроме амбиций. Его единственный потенциальный ресурс это готовый авторитет, тень которого может упасть на него, если оно будет с достаточным рвением его культивировать.

Такая стратегия претендентов на господство имеет серьезные последствия для самой литературы и для общества в целом.

Для литературы это значит вот что. В этих условиях неконформистские эстетические группы практически не имеют шансов выжить, не говоря уже о том, чтобы бросить вызов в борьбе за господство; они не могут себе обеспечить даже место на периферии. Если литературная борьба (сама по себе вполне естественная) сводится лишь к тому, кто будет контролировать готовые авторитеты, то появление жизнеспособных очагов обновления невозможно.

Попытки борьбы с авторитетами неизбежно вырождаются в самоцельное авторитетоборчество и успешно оттесняются в зону бесперспективного вульгарно-карнавального, аутентично-карнавального травестирования авторитетов. Туда, где пародия перестает быть агентом стилевой динамики и становится либо извращенной разновидностью апологетики авторитета, либо способом уничтожения самих нон-конформных технически-художественных поползновений.

Сегодня эта зона в русской культуре обширна как никогда. Это верный признак того, что существующая эстетическая традиция чрезвычайно устойчива и останется нерушимой весьма долго. Ведь карнавальная зона по своей естественной функции — социальное дополнение к авторитетному (господствующему) ядру, коль скоро она соглашается на роль "низа". Реальное оплодотворение ядра культуры карнавалом возможно только при использовании особой художественной техники; но именно техническое обновление искусства оказывается блокированным.

Отсюда нетрудно перейти к пониманию общесоциального смысла сложившейся ситуации. Общество, где все смирились с существованием эстетического "верха" и эстетического "низа", не может быть демократичным.

Если мы не хотим (явно или тайно), чтобы общество было демократическим, то все в порядке. Но мы как будто бы настаиваем, что боремся за демократизацию общества, не так ли? Если это правда, то следует задуматься, как нам следует быть с "похвалами".

Дело вовсе не в том, чтобы обеспечить нарушенную равномерность похвал. Поток похвал безусловно может стать несколько более равномерным, если культура прибегнет хотя бы к тем же методам, которые используются в финансах и промышленности, чтобы не допустить слишком уж очевидной монополии. Но эта терапия имеет естественные пределы. Равномерное распределение похвал или даже стремление к нему означало бы возврат общества в примитивное состояние, где все содержание жизни сводится к хронической демонстрации взаимно-круговой любви. Боюсь, что с этим первобытным раем покончено навсегда. Для тех, кто все же хочет в этот рай вернуться, либеральное общество предусматривает такую возможность — они могут уйти в закрытую секту. Но не о них речь.

Демократическому обществу нужен не равномерный поток похвал, а изъятие похвал из публичного вербального поведения, из публичной дискурсии.



Такая экстравагантная версия эгалитаризма вызовет, вероятно, смущение и даже возмущение. Те возмущенные, которые дадут себе труд как-то рационализировать свои чувства, имеют возможность, если сумеют ею воспользоваться, выдвинуть несколько аргументов.

Во-первых, скажут они, это несправедливо. Достойные заслуживают похвалы. Каждому по труду.

Во-вторых, скажут они, как же без любви? Бог — это любовь. Жизнь — это любовь. Вы что же, хотите дегуманизировать общество?

В-третьих, избавиться от практики похвал — не будет ли это означать изъятие "человека" из картины мира? Ведь хвалят и порицают "людей". Из "романа жизни" выпадут "персонажи". Опять — дегуманизация.

Было бы нечестно утверждать, что это пустые аргументы. Они рационализируют чувственные позывы, на которых веками держится практика похвал и общественных структур, соответствующих этой практике.

Разумеется, на эти аргументы есть и контр-аргументы, и, в свою очередь, на них строится критика этой самой общественной практики и общественных структур, существующих веками.

В мои задачи теперь не входит эта контраргументация. Вместо того, чтобы имитировать дискуссию, я приведу пример альтернативного вербального поведения, показывающего как можно вырваться из заколдованного круга заинтересованной апологетики и внутренней "собственной" монопольно-иерархической структуры артистического сообщества.

В русской литературе такую альтернативу продемонстрировал Абрам Терц (Синявский) книгой "Прогулки с Пушкиным". Абрам Терц, как мне кажется, решил очень трудную задачу: противостоять социально заинтересованной апологетике Поэта, не впадая при этом в ребяческое авторитетоборчество, в личную компрометацию (основанную на биографических мифах или подлинных фактах — безразлично) и в травестию.

Не знаю, ставил ли он перед собой эту задачу вполне соз-

нательно; его "задача" мне неизвестна. Я увидел лишь то, что можно принять за ее решение. Многозначительная лексика, стилистика в целом и глубокие жанровые идеи этой книги, надо надеяться, еще найдут себе эффективных литературоведов-аналитиков. Я хочу здесь только обратить внимание на социальное-литературное значение того, что сделал Терц-Синявский.

Он предложил совершенно новое для русской литературной практики отношение к ведущей фигуре литературной жизни России прошлого времени. Каковы бы ни были его умозрительные соображения (если они были), перед нами совершенно новый опыт переживания личности и творчества знаменитого предшественника автора, или, пользуясь выражением Рэймонда Вильямса, иная "структура чувствования", что, может быть, намного важнее, чем какие бы то ни было умозрительные соображения.

Это оказалось, мне кажется, возможным потому, что Синявский занял по отношению к Пушкину позицию, небывалую для русской литературно-политической практики. Он взглянул на него не как "клиент", не как "жрец", не как "имитатор", не как "поклонник", ищущий самоидентификации в чужой гениальности и не как обыватель из подполья, ищущий опять же самоидентификации в ненависти к чужой гениальности. Он взглянул на Пушкина как равный.

Синявский демистифицировал фигуру Пушкина, оживил ее и попытался понять. Это — демократично, и этот опыт вносит в русскую демократическую традицию в тысячу раз больше, чем тупое переписывание на русский язык швейцарских конституций и попугайские проклятия в адрес "тоталитарного коммунизма".

Вполне закономерно, что наиболее впечатляющий опыт демократического поведения в русской жизни за многие годы совершился опять в рамках все той же художественной литературы. И не случайно в центре этого опыта оказался все тот же многоглавый и многострадальный Пушкин. Узел может быть развязан только там, где он завязан.

Реакция на книгу Синявского со стороны хранителей славы Поэта была весьма показательной. Эта книга привела их в гораздо большее раздражение и страх, чем тысячи непристойных анекдотов про Пушкина. С карнавальной трансфигурацией (чучелом, если угодно) Поэта они привыкли жить. Более

того, она как бы дополнительно узаконивает их собственное существование, поскольку уже неуничтожимая пасквильная антипушкиниана лишь подтверждает "природную" неизбежность сословия жрецов Поэта, обозначает его статус.

Книга же Терца-Синявского своим стилистическим пафосом толкает русскую литературу в сторону ее радикальной реорганизации как системы общественных отношений. И, таким образом, угрожает не только сословию "Пушкина", но всему ее сословному строю.

Книга Синявского — важный прецедент. И, разумеется, не только в литературной жизни. Но, боюсь, пройдет еще очень много времени, пока будет осознано, какое значение для демократизации советского общества имеет именно эта книга. И еще больше времени, прежде чем она принесет плоды.

К сожалению, пока не заметно, чтобы "структура чувствования" советской интеллигенции радикально менялась. Она все еще ориентирована на положительные эмоции, происходящие от изъявлений личной лояльности, демонстрации авторитета, потребности в личном превосходстве (ну хотя бы над кем-нибудь, ну хотя бы над папуасами).

По-прежнему интеллигенция одержима желанием "угадать" "правильную" точку зрения и выбрать "правильный" культ (источник этой точки зрения).

По-прежнему у интеллигенции сильно стремление ощутить и осознать себя через какую-то другую личность. Этот способ самоидентификации, если угодно, можно сравнить со способом самоидентификации челяди через барина. Быть может, тут не простое типологическое сходство, а генетическая преемственность; не исключено, что мы имеем дело с пережитком крепостничества и феодализма. На этом, впрочем, я не стал бы настаивать; типологическая параллель, по-моему, гораздо интереснее, чем ссылка на происхождение.



Эта заметка — всего лишь эскиз программы для размышлений. У меня нет возможности (да, честно говоря, и склонности) иллюстрировать свои обобщения. Любой читатель советской (в особенности эмигрантской) литературно-критической прессы обнаружит иллюстрации буквально тысячами. Ежедневник "Русская мысль" (Париж), например, дает материала

на десятки диссертаций. Особенно я рекомендовал бы будущему исследователю интервью, которые дают друг другу постоянные участники и гости салона "Русской мысли".

Я только приведу пару примеров, просто чтобы "обозначить" возможность и пути иллюстрирования своих соображений.

Култ Солженицына налицо; это видно слепому. Он уже настолько окаменел, что критики, сохраняющие ясную голову (Кленов, Коган), даже не принимаются всерьез. На них смотрят как на школьных хулиганов, которым все равно не удастся разрушить школьную дисциплину.

То же самое происходит с Бродским. Один комментатор его творчества назвал своего кумира "всечеловеком будущего", какковые слова еще набрал литерами двойного размера. Одна дама печатно усомнилась в том, достойна ли наша вшивая эпоха (и вшивая команда) такого гения. Я специально не называю имен этих поклонников; они меня не интересуют — меня интересует "явление".

Что же касается бедняги Высоцкого, то говорят, что Куляев собрал на эту тему целое досье. Будем надеяться, что в условиях гласности оно будет когда-нибудь оглашено. Пора в самом деле переходить с самогона на рассол.



Эти заметки приближаются к концу. Не будучи уверен в том, что их правильно поймут, я еще раз, пожалуй, подчеркну их идею. Это не очерк нравов, хотя тут, конечно, многое — о нравах. Но не это главное. Стереотипы поведения имеют отношение к общественным институтам, организации, структурам — вот о чем речь.

"Лесть" как индивидуальный порок интересна лишь для поверхностного филистера-моралиста, для которого важнее всего ткнуть наказующим перстом в лъстеца. На самом деле "похвала" — это вполне общественно осмысленный и продуктивный акт, обеспечивающий не просто личную выгоду хвалящему, но также интеграцию и экспансию коллектива, то есть воспроизводство общественной ячейки. Но — что самое интересное — это ячейка особого типа.

Не всякий коллектив прибегает к этому методу экспансии и интеграции. Просто потому, что располагает другими. На-

пример, легальными прерогативами власти, или денежным капиталом. "Начальники" и "денежные мешки" иногда любят, чтобы им пели словесные дифирамбы на широкой площади. Но как раз тут можно было бы говорить о личном тщеславии как пороке. В принципе "идеальный" начальник или "идеальный" капиталист скорее склонны к анонимности, предпочитают оставаться у себя в кабинетах, чем быть на сцене. Даже и теперь, когда агрессивные агенты информационного бизнеса (которые ради того, чтобы получить возможность торговать чужой славой, готовы создать ее кому угодно), пытаются их превратить в товар, они пока довольно успешно прячутся; публика мало что знает о тузах министерских канцелярий или воротилах финансовых рынков. Сильным и богатым слава не нужна.

Слава как заменитель власти и богатства нужна тем, у кого ничего больше нет. В товарно-рыночном обществе, конечно, она может воплотиться в богатство, и на это часто расчет. Но даже и в этом случае важно помнить, что иногда бывает так, что слава следует за властью и богатством, а иногда бывает наоборот. Важно то, что существует такое сообщество, где слава — первичная ценность. Похвала становится рациональным стереотипом поведения (а не патологией!) именно в этом сообществе.

Это — артистическое сообщество: литературно-политические, художественно-литературные салоны, кружки и типологически им очень близкие, параллельные и в значительной мере объединяющие тех же людей периферийные партийно-политические секты.

Именно они и оказываются инкубаторами того, что мы с некоторых пор называем культом личности. Именно в них общественная ячейка расслаивается социально на "талантов" и "поклонников", отношения между которыми больше чем какие-либо другие отношения между людьми есть отношения господства.

Эта среда существовала и продолжает существовать повсюду и повсюду ее влияние на политическую культуру и политическую жизнь было заметным.

В России же, можно предполагать, ее влияние было просто исключительным. У русской политической жизни просто нет другой традиции.

Часто называют другой источник русской политической

традиции: бюрократическую организацию. Я готов оспаривать эту точку зрения и вот почему.

Потому что арена бюрократии не есть арена политической жизни. Единственный политический по существу элемент бюрократической жизни это донос. Донос в самом деле стал и остается важным элементом русской политической традиции.

Но, во-первых, донос (хотя и в иных вариантах нежели служебный донос) мог быть заимствован и из других источников.

А во-вторых, из бюрократической организации в политическую традицию попал и мог попасть только донос. И уж во всяком случае не эта арена подарила русской политической жизни "культ личности", ибо сама она не знает ни "культа", ни "личности".

Артистическая среда — гостиные, театральные кулисы — напротив "держится" на культе личности. Не просто культ личности характерен для нее: она организована и иерархизирована на его основе. В центре и наверху этой среды люди, живущие славой, а вокруг них люди, живущие отражением этой славы.



В Советском Союзе долго не было публичной политической жизни. Она возникла в несколько лабораторных условиях (в том смысле, что географически отдельно) в эмиграции. И сразу же наглядно показала, к чему морально-технически готова русская потенциально активная политическая среда. В основном к выстраиванию иерархий, похвалам, доносам (негативным похвалам), к борьбе за обладание "готовым", но не к изготовлению чего бы то ни было.

Гласность в Москве, к счастью, вызвала к жизни и политическую активность иного стиля. Выживет ли она?

Было бы соблазнительно предсказать ее поражение. На мой взгляд, она выглядит пока намного слабее. Но те, кто хотят ей удачи, не должны кликушествовать. Поэтому ограничимся осторожным скептицизмом: предстоит тяжелая борьба, и, мне кажется, эта борьба будет в течение ближайших лет самым увлекательным и значительным элементом самоперестройки советского общества.



Варлам Шаламов

## ”СУЧЬЯ” ВОЙНА

Дежурного врача вызвали в приемный покой. На свежесмытых, чуть синеватых, выскобленных ножом досках пола корчилось загорелое татуированное тело — раздетый санитаром догола, раненый человек. Кровь пачкала пол, и дежурный врач злорадно усмехнулся — отчистить будет трудно; врач радовался всему плохому, что приходилось встретить и видеть. Над раненым склонились два человека в белых халатах: фельдшер приемного покоя, держащий лоток с перевязочным материалом, и лейтенант из спецчасти с бумагой в руке.

Врач сразу понял, что у раненого нет документов, и лейтенант спецчасти хочет получить хоть какие-либо сведения о раненом.

Раны были еще свежи, некоторые кровоточили. Ран было много — больше десятка крошечных ран. Человека недавно били маленьким ножом или гвоздем, или чем-нибудь еще.

Врач вспомнил, как в прошлое его дежурство две недели назад была убита продавщица магазина, убита в своей комнате, задавлена подушкой. Убийца не успел уйти незаметно, поднялся шум, и убийца, обнажив кинжал, выскочил в морозный туман улицы. Пробегая мимо магазина, мимо очереди, — убийца воткнул кинжал последнему в очереди — в ягодицу — из хулиганства, из черт знает чего...

---

Из архива Н. Лепина.

Но сейчас было что-то другое. Движения раненого становились менее порывистыми, щеки бледнели. Врач понимал, что тут дело в каком-то внутреннем кровотечении — ведь на животе тоже были маленькие, тревожные, не кровоточащие раны. Раны могли быть внутри, в кишечнике, в печени...

Но врач не решался вмешаться в священнодействие службы чека. Нужно было добыть во что бы то ни стало "установочные данные" — фамилию, имя, отчество, статью, срок, — получить ответ на вопросы, которые задаются каждому заключенному десять раз на день — на поверках, разводах...

Раненый что-то отвечал, и лейтенант торопливо записывал сообщенное на клочке бумаги. Уже известны были и фамилия, и статья — пятьдесят восемь, пункт четырнадцать... Оставался самый главный вопрос, ответа на который и ждали все — и лейтенант, и фельдшер приемного покоя и дежурный врач...

— Ты кто? Кто? — встав на колени около раненого, взволнованно зывал лейтенант.

— Кто?

И раненый понял вопрос. Веки его дрогнули, раздвинулись искусанные, запекшиеся губы, и раненый выдохнул протяжно:

— Су-у-ка...

И потерял сознание.

— Сука! — восхищенно крикнул лейтенант, вставая и отряхивая рукой колени.

— Сука! Сука! — радостно повторял фельдшер.

— В седьмую его, в седьмую хирургическую! — засуетился врач. Можно было приступить к перевязке. Седьмая палата была "сучья".



Много лет после того, как кончилась война, в уголовном мире, на дне человеческого моря еще не отшумели подводные кровавые волны. Волны эти были следствием войны — удивительным, непредвиденным следствием. Никто — ни седовласые уголовные юристы, ни ветераны тюремной администрации, ни многоопытные лагерные начальники не могли предвидеть, что война разделит уголовный мир на две враждебных друг другу группы.

Во время войны сидевшие в тюрьмах преступники — в том числе и многочисленные воры — рецидивисты, "урки" были взяты в армию, направлены на фронт, в маршевые роты. Армия Рокоссовского приобрела известность и популярность именно наличием в ней уголовного элемента. Из уркаганов выходили лихие разведчики, смелые партизаны. Природная склонность к риску, решительность и наглость делали из них ценных солдат. На мародерство, на стремление пограбить смотрели сквозь пальцы. Правда, окончательный штурм Берлина не был доверен этим частям. Армия Рокоссовского была нацелена в другое место, а в Тиргартен двинулись кадровые части маршала Конева — полки наиболее чистой пролетарской крови.

Писатель Вершигора в "Людах с чистой совестью" уверяет нас, что знает Платона Воронька, бывшего уркача, из коего вышел добрый партизан (как в книжках Макаренко).

Словом, уголовники из тюрем уходили на фронт, воевали там — кто хорошо, кто худо... Настал день победы, герои-уркачи демобилизовались и вернулись к мирным занятиям.

Вскоре советские суды послевоенного времени встретились на своих заседаниях со старыми знакомыми. Оказалось — и это-то предвидеть было нетрудно, что рецидивисты, "уркаганы", воры, "люди", "преступный мир" и не думают прекращать дела, которое до войны давало им средства к существованию, творческое волнение, минуты подлинного вдохновения, а также положение в обществе.

Бандиты вернулись к убийствам, "медвежатники" — к взломам несгораемых шкафов, карманники — к исследованиям чердаков на "лепехах", "скокари" — к квартирным кражам.

Война скорее укрепила в них наглость, бесчеловечность, чем научила чему-либо доброму. На убийство они стали смотреть еще легче, еще проще, чем до войны.

Государство пыталось организовать борьбу с возрастающей преступностью. Явились указы 1947 года "Об охране социалистической собственности" и "Об охране личного имущества граждан". По этим Указам незначительная кража, за которую вор расплачивался несколькими месяцами заключения, теперь каралась 20 годами.

Воров, бывших участников Отечественной войны, стали десятками тысяч грузить на пароходы и поезда и под строжай-

шим конвоем отправлять в многочисленные трудовые лагеря, деятельность которых ни на минуту не замирала во время войны. Лагерьей к тому времени было очень много. Севлаг, Севвостлаг, Севзаплаг, в каждой области, на каждой большой или маленькой стройке были лагерные отделения. Наряду с карликовыми управлениями, едва превышавшими тысячу человек, были и лагеря-гиганты с населением в годы их расцвета по нескольку сот тысяч человек: Бамлаг, Тайшетлаг, Длитлаг, Темники, Караганда...

Лагеря стали быстро наполняться уголовщиной. С особым вниманием комплектовались два больших отдаленных лагеря — Колыма и Воркута. Суровая природа Крайнего Севера, вечная мерзлота, восьми-девятимесячная зима в сочетании с целеустремленным режимом создавали условия для ликвидации уголовщины. Опыт, произведенный Сталиным над "троцкистами" в 1938 году, увенчался полным успехом и был всем хорошо памятен.

На Колыму и Воркуту стали приходить эшелон за эшелон осужденных по Указам 47 года. Хотя в трудовом отношении "блатные" были малоценным материалом и вряд ли были особенно пригодны для колонизации края, зато бежать с Крайнего Севера было почти невозможно. Стало быть, задача изоляции разрешалась надежно. Кстати, эти географические особенности Крайнего Севера были на Колыме причиной появления особой категории беглецов (красочный блатной термин — "ушедшие во льды"), которые никуда по сути дела не "бежали", а прятались около "трассы" автомобильной дороги в две тысячи километров длиной, грабя проезжающие машины. В главную вину этим беглецам ставились не побег сам по себе и не разбой на большой дороге. Юристы видели в побеге уклонение от работы и трактовали эти побегии как контрреволюционный саботаж, как отказ от работы — главное лагерное преступление. Соединенными усилиями юристов и мыслителей из лагерной администрации уголовный рецидив, наконец, был кое-как втиснут в рамки самой страшной пятьдесят восьмой статьи.

Каков катехизис вора? Вор, член "преступного мира" — это определение — "преступный мир" принадлежит самим ворам — должен воровать, обманывать "фраеров", пить, гулять, играть в карты, не работать, участвовать в "правилах", т.е. "судах чести". Тюрьма для вора хоть и не родной дом, не какие-

нибудь "хаза" или "малина", или "шалман", но место, где вор вынужден проводить большую часть своей жизни. Из этого следует важный вывод, что в тюрьме блатные должны обеспечить себе — силой, хитростью, наглостью, обманом — неофициальные, но важные права, вроде права на дележ чужих передач или чужих вещей, вроде права на лучшее место, на лучшую пищу и т.д. Практически это достигается всегда, если в камере есть несколько воров. Именно они-то и приобретают все, что можно приобрести в тюрьме. Эти "традиции" позволяют вору жить лучше других в тюрьме и лагере.

Небольшой срок заключения, частые амнистии давали ворами возможность без особенных забот провести время заключения, не работая. Работали, и то время от времени, только специалисты — слесари, механики. Ни один вор не работал на "черной" работе. Лучше он просидит в карцере, в лагерьном "изоляторе"...

Указ 47 года с его двадцатилетним сроком за незначительные преступления по-новому поставил перед ворами проблему "занятости". Если вор мог надеяться, не работая, пробыть правдами и неправдами несколько месяцев или год-два, как раньше, то теперь надо было фактически всю жизнь проводить в заключении, или полжизни, по крайней мере. А жизнь вора — короткая. "Паханов"-стариков среди "урок" мало. Воры долго не живут. Смертность среди воров значительно выше средней смертности страны.

Указ 47 года поставил перед "преступным миром" серьезные проблемы, и лучшие блатные умы напряженно искали надежного решения вопроса.

По воровскому закону вор не должен в заключении занимать какие-либо административные лагерные должности, выполнение которых вверяется заключенным. Ни нарядчиком, ни старостой, ни десятником вор не имеет права быть. Этим он как бы вступает в ряды тех, с кем вор всю жизнь находится во вражде. Вор, занявший такую административную должность, перестает быть воровом и объявляется "сукой", "ссучившимся", объявляется вне закона, и любой блатной сочтет честью для себя зарезать при удобном случае такого ренегата.

Щепетильность преступного мира в этом вопросе очень велика, правоверные толкования некоторых сложных дел напоминают тонкую и извитую логику талмуда.

Пример: вор идет мимо вахты. Дежурный надзиратель кричит ему: эй, ударь, пожалуйста, в рельс, позвони, мимо идешь... Если вор ударит в рельс — сигнал побудок и поверок — он уже нарушил закон, "подсучился".

"Правилки" или "суды чести", где "качают права" и заняты, главным образом, рассмотрением дел и провинностей, связанных именно с изменой своему знамени и "юридическим" толкованием того или иного подозрительного поступка. Виновен или невиновен? Утвердительный ответ судов чести влечет обычно и почти немедленно — кровавую расправу. Убивают, конечно, не судьи. Убивает воровская молодежь. Главари всегда считали, что такие "акты" полезны для молодого вора: он приобретает опыт, закаляется...



На паромовых и поездах, в Магадан и в Усть-Цильму стали прибывать осужденные после войны воры. "Военщина" — такое они получили название впоследствии. Все они участвовали в войне и не были бы осуждены, если бы не совершили новых преступлений. Увы, таких, как Воронько, было очень и очень мало. Огромное же, подавляющее большинство воров вернулось к своей профессии. Строго говоря, они и не отдалялись от нее — мародерство на фронте стоит довольно близко к основному занятию нашей социальной группы. Среди блатарей "вояк" были и награжденные орденами. Блатные — инвалиды войны нашли себе новый и очень большой доход — нищенство в пригородных поездах.

Среди "военщины" было много крупных "урок", выдающихся деятелей этого подземного мира. Сейчас они возвращались после нескольких лет войны-свободы в привычные места, в дома с зарешетчатыми окнами, в лагерные "зоны", опутанные десятками рядами колючей проволоки, возвращались в привычные места с непривычными мыслями и явной тревогой. Кое-что было уже обсуждено долгими пересыльными ночами, и все были согласны на том, что дальше жить по-старому нельзя, что в воровском мире назрели вопросы, требующие немедленного обсуждения в самых "высших сферах". Главари "военщины" хотели встретиться со старыми товарищами, которых только случай, как они считали, уберек от участия в войне, с товари-

щами, которые все это военное время просидели в тюрьмах и лагерях. Главари "военщины" рисовали себе картины радостных встреч со старыми товарищами, сцен безудержного бахвальства "гостей" и "хозяев", и, наконец, помощи в решении тех серьезнейших вопросов, которые жизнь поставила перед уголовщиной.

Их надеждам не суждено было сбыться. Старый "преступный мир" не принял их в свои ряды, и на "правилки" "военщина" не была допущена. Оказалось, что вопросы, тревожившие приезжих, давно уже обдуманы и обсуждены в старом "преступном мире". Решение же было вынесено совсем не такое, как думали "вояки".

— Ты был на войне?

— Ты взял в руки винтовку?

— Значит, ты — сука, самая настоящая сука и подлежишь наказанию по "закону". К тому же ты — трус! У тебя не хватило силы воли отказаться от маршевой роты — "взять срок" или даже умереть, но не брать винтовку!

Вот как отвечали приезжим "философы" и "идеологи" блатного мира. Чистота блатных убеждений, говорили они, дороже всего. И ничего менять не надо. Вор, если он "человек", а не "сывка", должен уметь прожить при любом Указе — на то он и вор.

Напрасно "вояки" ссылались на прошлые заслуги и требовали допустить их к "судам чести" как равноправных и авторитетных судей. Старые уркаганы, перенесшие и восьмушку хлеба во время войны в тюремной камере и кое-что другое, были непреклонны.

Но ведь среди вернувшихся было много важных персон уголовного мира. Там было достаточно и "философов", и "идеологов", и "вождей". Вытесненные из родной среды столь бесцеремонно и решительно, они не могли примириться с тем положением париев, на которое обрекали их правоверные "урки". Напрасно указывали предводители "военщины", что случайность, особенность их положения в тот момент, когда им было сделано предложение пойти на фронт, исключала отрицательный ответ. Конечно, никаких патриотических настроений у уголовщины никогда не существовало. Армия, фронт — были предлогом выйти на волю, а там — что бог даст. На какой-то момент интересы государства и личные интересы слились — и

именно за это они и держали сейчас ответ перед своими бывшими товарищами. К тому же война отвечала как-то таким чувствам блатаря, как любовь к опасности, к риску. О "перековке", об отколе от "преступного мира" они и не думали — ни раньше, ни теперь. Ущемленные самолюбия авторитетов, переставших быть авторитетами, сознание напрасности своего шага, который объявлен изменой товарищам, память о трудных дорогах войны — все это обостряло отношения, накаляло "подземную" атмосферу до крайности. Были среди воров и такие, которые пошли на войну из слабости духовной — им угрожали расстрелом — да и расстреляли бы в то время. Более слабые последовали за главарями, за авторитетами — жизнь всегда жизнь, люди.

Крупные блатари "вожди" "военщины" были озадачены, но не смущены. Что ж, если старый "закон" их не принимает, они объявят новый. И новый воровской закон был объявлен — в 1948 году на пересылке в бухте Ванино. Поселок и порт Ванино были отстроены во время войны, когда взорвался порт бухты Находка.

Первые шаги этого нового закона связаны с полулегендарным именем блатаря по кличке "Король", человека, о котором много лет спустя знавшие его и ненавидевшие воры "в законе" говорили с уважением — "Ну, как-никак, душок у него был..."

Дух, душок — это своеобразное воровское понятие. Это и смелость, и напористость, и крикливость, и своеобразная удаль, и стойкость наряду с некоторой истеричностью, театральностью...

Новый Моисей обладал этими качествами в полной мере.

По новому закону блатным разрешалось работать в лагере и тюрьме старостами, нарядчиками, десятниками, бригадирями, занимать еще целый ряд многочисленных лагерных должностей.

Король договорился с начальником пересылки о страшном: он обещал навести полный порядок на пересылке, обещав "своими силами" справиться с "законными" ворами. Если в крайнем случае прольется кровь — он просит не обращать большого внимания.

Король напомнил о своих военных заслугах (он был награжден орденом на войне) и дал понять, что начальство стоит перед минутой, когда правильное решение может привести к

исчезновению уголовного мира, преступности в нашем обществе. Он, Король, берет на себя выполнение этой трудной задачи и просит ему не мешать.

Думается, что начальник Ванинской пересылки немедленно поставил в известность самое высокое начальство и получил одобрение операции Короля. В лагерях ничего не случается по произволу местного начальства. К тому же, по правилам, все шпионят друг за другом.

Король обещает исправиться! Новый воровской закон! Чего же лучше? Это — то, о чем мечтал Макаренко, исполнение самых заветных желаний теоретиков. Наконец-то блатные "перековались"! Наконец-то пришло долгожданное практическое подтверждение многолетним теоретическим упражнениям на сей счет, начиная с крыленковской "резинки" и кончая теорией возмездия Вышинского.

Приученная видеть в "уркачах", "тридцатипятиках" — "друзей народа", — администрация лагерей мало следила за подспудными процессами, проходившими в "преступном мире". Никакой тревожной информации оттуда не поступало — лагерное начальство имело сеть доносчиков и осведомителей совсем в других местах. О настроениях, о вопросах, волновавших "преступный мир" — никому не было дела.

Мир этот давно уже должен был исправиться — и, наконец, этот час наступил. Доказательство сему — говорило начальство — новый воровской закон Короля. Это — результат благотворного действия войны, пробудившей даже в уголовниках чувство патриотизма. Мы же читали Вершигору, мы слышали о победах армии Рокоссовского.

Начальники-ветераны, посевшие на лагерной службе, хоть и не верили, что "может быть доброе из Назарета", но считали про себя, что от раскола, от вражды двух воровских групп между собой может быть только добро и выгода для остальных, обыкновенных людей. Минус, помноженный на минус, дает плюс — напоминали они. Попробуем.

Король получил согласие на свой "опыт". В один из коротких северных дней все население пересылки Ванино было выстроено на линейке строем по два.

Начальник пересылки рекомендовал заключенным нового старосту. Этим старостой был Король. Командирами рот были назначены его ближайшие подручные.

Новая лагерная обслуга не стала терять даром времени. Король ходил вдоль рядов заключенных, пристально вглядываясь в каждого, и бросал:

— Выходи!

— Ты!

— Ты!

— И ты! — палец Короля двигался, часто останавливаясь — и всегда безошибочно. Воровская жизнь приучила его к наблюдательности. Если Король сомневался — проверить было очень легко, и все — и блатари, и сам Король — отлично это знали.

— Раздевайся! Снимай рубаху!

Татуировка — “наколка” — опознавательный знак “ордена” сыграла свою губительную роль. Татуировка — ошибка молодости уркаганов. Вечные рисунки облегчают работу уголовному розыску. Но их смертное значение открылось только сейчас.

Началась расправа. Ногами, дубинками, кастетами, камнями банда Короля “на законном основании” крошила адептов старого воровского закона.

— Примете нашу веру? — кричал торжествующе Король. Вот он проверит теперь крепость духа самых упорных ортодоксов, обвинявших его самого в слабости. — Примете нашу веру?

Для перехода в новый воровской закон был изобретен обряд, театральное действо. Блатной мир любит театральность в жизни, и знай Н.Н. Евреинов или Пиранделло это обстоятельство — они не преминули бы обогатить аргументами свои сценические истории.

Новый обряд ничуть не уступал известному посвящению в рыцари. Не исключено, что “романы” Вальтера Скотта подсказали эту торжественную и мрачную процедуру.

— Целуй нож!

К губам избираемого блатаря подносилось лезвие ножа.

— Целуй нож!

Если “законный” вор соглашался и прикладывал губы к железу — он считался принятым в новую веру и навсегда терял всякие права в воровском мире, становясь “сукой” навеки.

Эта мысль Короля была поистине королевской мыслью. Не только потому, что посвящение в блатные рыцари обещало многочисленные резервы армии “сук”, — вряд ли, вводя этот ножевой обряд, Король думал о завтрашнем и послезавтрашнем

дне. Но о другом он подумал наверняка! Он поставит всех своих старых довоенных друзей в те же самые условия — жизнь или смерть! — в которых он, Король, струсил, по мнению воровских "ортодоксов". Пусть теперь они сами покажут себя! Условия — те же.

Всех, кто отказывался целовать нож, — убивали. Каждую ночь к запертым снаружи дверям пересыльных барачников подтаскивали новые трупы. Эти люди не были просто убиты. Этого было слишком мало Королю. На всех трупах "расписывались" ножами все их бывшие товарищи, поцеловавшие нож. Блатарей не убивали просто. Перед смертью их "трюмили", т.е. топтали ногами, били, всячески уродовали... И только потом — убивали. Когда через год или два пришел этап с Воркуты и несколько видных воркутинских "сук" (там разыгралась та же история) сошли с парохода — выяснилось, что воркутинцы не одобряют излишней жестокости колымчан. "У нас просто убивают, а "трюмить"? Зачем это?". Стало быть, воркутинские дела несколько отличались от дел королевской банды.

Вести о королевской расправе в бухте Ванино полетели через море, и на Колымской земле воры старого закона приступили к самозащите. Была объявлена тотальная мобилизация, весь блатной мир вооружался. Над изготовлением ножей и коротких пик-штыков тайком трудились все кузнецы и слесарные мастерские Колымы. Ковали, конечно, не блатные, а настоящие штатные мастера под угрозой. "За ради страха" — как говорили блатные. Они знали гораздо раньше Гитлера, что напугать человека гораздо надежней, чем подкупить. И, само собой, дешевле. Любой слесарь, любой кузнец согласился бы, чтоб у него упал процент выполнения плана, но была сохранена жизнь.

Тем временем энергичный Король убедил начальство в необходимости "гастрольной" поездки по пересылкам Дальнего Востока. Вместе с семьей своими подручными он объехал пересылки до Иркутска — оставляя в тюрьмах десятки трупов и сотни новообращенных "сук".

"Суки" вечно не могли жить в бухте Ванино. Ванино — транзитка, пересылка. "Суки" двинулись за море — на золотые прииски. Война была перенесена в большое пространство. Воры убивали "сук", "суки" — воров. Цифра "архива № 3" (умершие) подскочила вверх, чуть не достигая рекордных высот пресловутого 1938 года, когда "троцкистов" расстреливали целыми бригадами сразу.

Начальство бросилось к телефонам, вызывая Москву.

Выяснилось, что в заманчивой формуле "новый воровской закон" главное значение имеет слово "воровской" и ни о каких "перековках" не идет и речи. Начальство было еще раз одурачено — жестоким и умным Королем.

С начала тридцатых годов, ловко пользуясь распространением идей "трудового перевоспитания", блатные спасают свои кадры, легко давая миллионы честных слов, пользуясь спектаклем "Аристократы" и твердым указанием начальства о необходимости оказывать "доверие" уголовному рецидиву. Идеи Макаренко и пресловутая "перековка" и дали возможность блатарям под прикрытием этих идей спасти свои кадры и их укрепить. Утверждалось, что в отношении бедняжек-уголовников должны применяться только исправительные, а не карательные санкции. На деле это выглядело странной заботливостью о сохранении уголовщины. Любой практик — лагерный работник знал — и знал всегда, — что ни о какой "перековке" и перевоспитании уголовного рецидива не может быть и речи, что это — вредный миф. Что обмануть "фраера", начальство — это доблесть вора; что можно давать тысячу клятв "фраеру", миллион честных слов, лишь бы он поддался на удочку. Недальновидные драматурги типа Шейнина или Погодина продолжали к вящей пользе блатного мира проповедовать необходимость "доверия" к блатарям. Если один Костя-капитан перевоспитался, то десять тысяч блатных вышли из тюрем раньше времени и совершили двадцать тысяч убийств и сорок тысяч ограблений. Вот цена, которую заплатили за "Аристократов" и "Дневник следователя". Шейнин и Погодин были слишком несведущими людьми в столь важном вопросе. Вместо того, чтобы развенчать уголовщину, они романтизировали ее.

В 1938 году блатные были открыто призваны в лагерях для физической расправы с "троцкистами"; блатные убивали и избивали беспомощных стариков, голодных "доходяг"... Смертной казнью каралась даже "контрреволюционная агитация", но преступления блатных были под защитой начальства.

Никаких признаков "перековки" ни в блатных, ни в "сучьем" мире не обнаруживалось. Только сотни трупов ежедневно собирались в лагерные морги. Выходило так, что начальство, помещая вместе блатных и "сук", сознательно подвергает тех или других смертельной опасности.

Распоряжение о "невмешательстве" были вскоре отменены и повсюду созданы отдельные, особые зоны — для "сук" и для воров "в законе". Поспешно и все же поздно Король и его единомышленники были сняты со всех лагерных административных должностей и превратились в простых смертных. Выражение "простой смертный" неожиданно приобрело особый, зловещий смысл. "Суки" не были бессмертными. Оказалось, что создание особых зон на территории одного лагеря не приносит никакой пользы. Кровь лилась по-прежнему. Пришлось закрепить за ворами и "суками" отдельные прииски (где, конечно, наряду с уголовщиной, работали и представители других статей кодекса). Создавались экспедиции — налеты вооруженных "сук" или "воров" на "вражеские" зоны. Пришлось сделать еще один организованный шаг — целые приисковые управления, объединяющие несколько приисков, закрепить за ворами и "суками". Так, все т.е. Западное Управление с его больницами, тюрьмами, лагерями досталось сукам, а в Северном Управлении сосредоточивали воров.

На пересылках каждый блатной должен был сообщить начальству, кто он — вор или "сука", и в зависимости от ответа он подключался в этап, направляемый туда, где блатарю не грозила смерть.

Название "суки", хоть и неточно отражающее существо дела и терминологически неверное, привилось сразу. Как ни пытались вожди нового закона протестовать против обидной клички, удачного, подходящего слова не нашлось, и под этим названием они вошли в официальную переписку и очень скоро и сами они стали себя называть "суками". Для ясности. Для простоты. Лингвистический спор мог немедленно привести к трагедии.



Время шло, а кровавая война на уничтожение не утихала. Чем может это кончиться? Чем? — гадали лагерные мудрецы. И отвечали: убийством главарей с той и другой стороны. Уже сам Король был взорван на каком-то отдаленном прииске. (Его сон в углу барака охранялся вооруженными друзьями. Блатари подвели под угол барака заряд аммонала, достаточный, чтобы угловые нары взлетели в небо). Уже большинство "вояк"

лежало в братских лагерных могилах с деревянной биркой на левой ноге, нетленными в вечной мерзлоте. Уже самые видные воры — Полтора Ивана Балабанов и Полтора Ивана Грек — умерли, не поцеловав сучьего ножа. Но другие, не менее видные — Чибис, Мишка-одессит — поцеловали нож и убивали теперь блатных во славу сучью.

На втором году этой "братоубийственной" войны обозначилось некое новое важное обстоятельство.

Как? Разве обряд целования ножа меняет блатную душу? Или пресловутая "жульническая кровь" изменила свой химический состав в жилах уркагана, оттого что губы его прикоснулись к железному лезвию?

Вовсе не все, целовавшие нож, одобряли новые сучьи скрижали. Многие, очень многие в душе оставались приверженцами старых законов — ведь они сами осуждали "сук". Часть этих слабых духом блатарей попробовала при удобном случае вернуться в "закон". Но — королевская мысль Короля еще раз показала свою глубину и силу. Воры "законные" грозили новообращенным "сукам" смертью и не хотели отличать их от кадровых "сук". Тогда несколько старых воров, поцеловавших сучье железо, воров, которым стыд не давал покоя и кормил их злобу, сделали еще один удивительный ход.

Объявлен был третий воровской закон. На этот раз для разработки "идейной" платформы у блатных третьего закона не хватило теоретических сил. Они не руководились ничем, кроме злобы, и не выдвигали никаких лозунгов, кроме лозунга мести и кровавой вражды к "сукам" и к "ворам" — в равной мере. Они приступили к физическому уничтожению тех и других. В эту группу поначалу вошло так неожиданно много уркаганов, что начальству пришлось и для них выделить отдельный прииск. Ряд новых убийств, вовсе не предвиденных начальством, привел в большое смущение умы лагерных работников.

Блатари третьей группы получили выразительное название "беспредельщины". "Беспредельщину" зовут также "махновцами" — афоризм Нестора Махно времен гражданской войны о своем отношении к красным и белым хорошо известен в блатном мире. Стали рождаться новые и новые группы, принимавшие самые различные названия, например, "Красные шапочки". Лагерное начальство сбилось с ног обеспечивая всем этим группам отдельные помещения.

В дальнейшем выяснилось, что "беспредельщины" не так много. Воры действуют всегда в компании — одинокий блатарь невозможен. Публичность кутежей, "правил" в воровском подполье нужна и большим, и малым ворами. Нужно принадлежать к какому-то миру, искать и находить там помощь, дружбу, совместное дело.

"Беспредельщина", по существу, трагична. В "сучьей" войне она имела немного сторонников и была ярким явлением психологического порядка, вызывая к себе интерес именно с этой стороны. "Беспредельщине" пришлось испытать и много особых унижений.

Дело в том, что по приказу охраняемые конвоем камеры пересылок были двух видов: для воров в законе и воров "сук". "Беспредельщикам" же приходилось выпрашивать у начальства место, долго объяснять, ютиться где-нибудь в уголках, среди "фраеров", которые относились к ним без всякой симпатии. Почти всегда "беспредельщики" были одиночными "путешественниками". Вору-"беспредельщику" приходилось обращаться с просьбой к начальству — воры и суки требовали "своего". Так, один из таких "беспредельщиков" после выписки из больницы трое суток (до отправки) провел под караульной вышкой — там было всего безопасней — в лагере же его могли убить, и он отказался войти в "зону".

Первый год казалось, что перевес будет за "суками". Энергичные действия их главарей, воровские трупы на всех пересылках, разрешение направлять сук на те прииски, куда раньше направлять их не рисковали — все это были признаки "сучьего" преимущества в "войне". Вербовка "сук" путем обряда целования ножа приобрела широкую известность. Магаданская пересылка была прочно занята "суками". Кончалась зима, и блатные "в законе" жадно ждали начала навигации. Первый пароход должен был решить их судьбу. Что он привезет — жизнь или смерть?

С парходом прибыли первые сотни правоверных блатарей с "материка". Среди них не было "сук"!

"Суки" Магаданской пересылки быстро этапировались в "свое" Западное Управление. Получив подкрепление, воры снова ожили, и кровавая борьба вспыхнула с новой силой. В дальнейшем из года в год воровские кадры пополнялись приезжими, завезенными с материка ворами. "Сучьи" же кадры — размножались известным способом целования ножа.

Будущее по-прежнему было неопределенным. В 1951 году Иван Чайка — один из самых “авторитетных” представителей воровского закона того времени и тех мест — назначен был в этап после месячного лечения в центральной больнице для заключенных. Чайка был вовсе не болен. Начальнику санчасти прииска, где Чайка был “прописан”, пригрозили расправой, если он не отправит Чайку на отдых, и обещали дать два костюма, если он Чайку отправит. Начальник санчасти отправил Чайку. Больничные анализы не содержали ничего угрожающего здоровью Чайки, но с заведующим терапевтическим отделением уже успели поговорить. Чайка лежал в больнице целый месяц и согласился выписаться. Но при отправке с больничной пересылки, вызванный по списку “нарядчиком”, Чайка спросил — куда идет этап? Нарядчик захотел подшутить над Чайкой и назвал один из приисков Западного Управления, куда “законных” воров не отправляли. Через десять минут Чайка сказался больным и попросил вызвать начальника пересылки. Пришел начальник и врач. Чайка положил ладонь левой руки на стол, растопырив пальцы, и ножом, который был у него в другой руке, несколько раз ударил по собственной кисти. Всякий раз нож проходил до дерева, и Чайка резким рывком выдергивал его обратно. Все это было делом минуты-двух. Чайка объяснил испуганному начальству, что он — вор, и знает свои права. Он должен ехать в воровское, Северное Управление. На Запад же, на смерть он не поедет, лучше потеряет руку. Начальник, изрядно перетрусивший, едва разобрался в этой истории — ведь Чайку отправляли именно туда, куда он хотел. Так, по милости нарядчика, месячный отдых Чайки в больнице был немного испорчен. Если бы он не спросил нарядчика о месте назначения этапа — все обошлось бы благополучно.



Центральная больница для заключенных на тысячу с лишним коек, гордость Колымской медицины, была расположена на территории Северного Управления. Естественно, что воры считали ее своей районной больницей, а отнюдь не центральной. Руководство больницы долгое время пыталось встать “над схваткой” и делало вид, что лечит больных из всех Управлений. Это было не вполне так, ибо воры считали Северное Управле-

ние своей цитаделью и настаивали на своих особых правах на всей его территории. Воры добивались, чтобы "сук" не лечили в этой больнице, где были условия лечения много лучше, чем где-либо, а главное — Центральная больница имела право "активировки" инвалидов для вывоза на "материк". "Добивались" они этого не заявлениями, не жалобами, не просьбами, а ножами. Несколько убийств на глазах у начальника больницы, и тот присмилел и понял, где его настоящее место в столь тонких вопросах. Недолго пыталась больница удержаться на чисто врачебных позициях. Когда больному его сосед втыкает ночью нож в живот — это действует весьма убедительно, как бы ни заявляло начальство о том, что ему нет дела до "гражданской войны" среди уголовного мира. Упорство руководства больницы вначале и заверения в безопасности обманули некоторых "сук". Они соглашались на лечение, предлагавшееся им на местах (на местах любой врач соглашался "оформить" медицинские документы, лишь бы прииск избавился хоть на время от уголовщины); конвой привозил их в больницу, но не дальше приемного покоя. Здесь, разузнав обстановку, они требовали немедленной отправки обратно. В большинстве случаев их увозил тот же конвой. Был случай, когда начальник конвоя, получив отказ в приеме, подбросил в канаву около больницы связку "личных дел" и, оставив больных, пытался на своей машине вместе с конвоирами скрыться. Машина с конвоем уже успела сделать километров сорок, когда ее нагнали на другой машине бойцы и офицеры охраны больницы с винтовками и револьверами со взведенными курками. "Беглецов" под конвоем вернули к больнице, вручили им людей и "дела" и распрощались с ними.

Единственный раз четыре "суки" — крупных уркагана — отважились на ночевку в стенах больницы. Они забаррикадировали дверь отведенной им отдельной больничной палаты и дежурили у дверей по очереди с обнаженными ножами. Наутро они отправлены были обратно. Это был единственный случай, когда оружие было открыто внесено в больницу — начальство старалось не видеть ножей в руках у "сук".

Обычно же оружие отбиралось в приемном покое — это делалось очень просто — больных раздевали догола и выводили в следующее помещение для врачебного осмотра. После каждого этапа на полу и за спинками скамеек оставались брошенные пики и ножи. Разматывались даже бинты повязок, снимался

тип с переломами, ибо ножи прибинтовывались к телу, скрывались под повязками.

Чем дальше, тем реже приезжали суки в центральную больницу — практически воры уже выиграли спор с начальством. Наивный начальник, начитавшийся Шейнина и Макаренко, втайне, а то и открыто восхищенный "романтическим" миром уголовщины ("Вы знаете, это крупный вор" — это говорилось таким тоном, что можно было подумать, что речь идет о каком-нибудь академике, открывшем тайну атомного ядра), возмнил себя знатоком блатных обычаев. Он слышал о "Красном кресте", о воровском отношении к врачам и сознание своего личного общения с ворами приятно щекотало его тщеславие.

Ему говорили, что "Красный крест", т.е. медицина, ее работники и, в первую очередь, врачи находятся на особом положении в глазах блатного мира. Они — неприкосновенны, "экстерриториальны" для воровских операций. Больше того, врачей в лагере уголовники охраняют от всех несчастий. На эту нехитрую, грубую лесть попало и попадает много людей. И каждый вор и каждый врач в лагере умеют рассказывать старую-престарую сказку о том, как обкраденному врачу воры вернули часы (чемодан, костюм, брегет), лишь только узнали, что обкраденный — врач. Это — вариация "Брегета Эррио". В ходу и история о голодном враче, которого сытые воры кормили в тюрьме (из "передач", отобранных ворами у других жителей тюремной камеры). Существует несколько подобных классических сюжетов, которые, как шахматные дебюты, рассказываются по определенным правилам...

В чем тут правда, в чем тут дело? Дело тут в холодном и подлом расчете блатарей. А правда в том, что единственным защитником заключенного в лагере (и вора в том числе) является врач. Не начальник, не штатный КВЧ — культработник, а только врач оказывает повседневную и реальную помощь арестанту. Врач может положить в больницу. Врач может дать отдохнуть день-другой — это очень важное дело. Врач может отправить куда-либо в другое место или не отправить — при всяком таком передвижении требуется санкция врача. Врач может направить на легкую работу, снизить "трудовую категорию" в этой важнейшей, жизненной области врач почти вовсе бесконтролен, и уж во всяком случае не местный начальник: ему судья. Врач следит за питанием заключенных и если не

принимает сам участия в разбазаривании этого питания, то очень хорошо. Он может выписать паек получше. Велики права и обязанности врача. И как бы ни был плох врач, все равно именно он — моральная сила в лагере. Иметь влияние на врача — это гораздо важнее, чем держать "на крючке" начальника или подкупать работника КВЧ. Врачей подкупают очень умело, запугивают осторожно, им, вероятно, возвращают и краденые вещи. Впрочем, живых примеров этому нет. Скорее на лагерных врачах — не исключая и вольнонаемных — можно видеть дареные ворами костюмы или хорошие "шкары". Блатной мир в хороших отношениях с врачом до тех пор, пока врач (или другой медработник) выполняет все требования этой наглой банды, требования, растущие по мере того, как врач все глубже запутывается в своих, казалось бы, невинных связях с блатарями. А ведь больные люди, измученные старики должны умирать на нарах, потому что их места в больнице занимают здоровые отдыхающие блатари. И если врач отказывается выполнять требования уголовщины, с ним поступают вовсе не как с представителем "Красного креста". Молодой москвич, приисковый врач Суровой отказался категорически выполнить требования блатных об отправке в Центральную больницу на отдых трех блатарей. На следующий вечер он был убит во время приема — 52 ножевых раны насчитал на его трупe патолого-анатом. Пожилой врач — женщина Щицель — на женском прииске оказалась дать освобождение от работы какой-то блатарке. На следующий день врачиха была зарублена топором. Собственная санитарка санчасти привела приговор в исполнение. Суровой был молод, честен и горяч. Когда его убили, на его должность был назначен доктор Крапивницкий — опытный начальник санчастей штрафных приисков, вольнонаемный врач, выдавший виды.

Доктор Крапивницкий просто объявил, что лечить не будет, не будет и осматривать. Необходимые медикаменты будут выдаваться ежедневно через бойцов охраны. "Зона" наглухо запирается, и выпускать из нее будут только мертвых. Еще два с лишним года после назначения на этот прииск доктор Крапивницкий продолжал там находиться в полном здравии.

Закрытая "зона", окруженная пулеметами, отрезанная от всего остального мира, жила своей собственной страшной жизнью. Мрачная фантазия уголовников соорудила здесь среди

бела дня форменные суды, с заседаниями, с обвинительными речами и свидетельскими показаниями. Посреди лагеря воры, сломав нары, воздвигли виселицу и на этой виселице повесили двоих "разоблаченных" "сук". Все это делалось не ночью, а белым днем, на глазах начальства.

Другая зона этого прииска считалась рабочей. Оттуда воры пониже чином ходили на работу. Прииск этот после размещения там уголовщины потерял, конечно, свое производственное значение. Влияние соседней, нерабочей зоны, чувствовалось там всегда. Именно из "рабочих" барачков в больницу был приведен старик — "бытовичок", не уголовник. Он, как рассказывали приехавшие с ним блатари, "непочтительно разговаривал с Васечкой"!

"Васечка" был молодой блатарь из потомственных воров: стало быть, из вожаков. Старик был вдвое старше этого "Васечки".

Обиженный тоном старика ("еще огрызается"), Васечка велел достать кусок бикфордова шнура с капсюлем. Капсюль вложили в ладони старика, связали обе его кисти друг с другом — протестовать он не посмел — и подожгли шнур. У старика были оторваны обе кисти. Так дорого обошелся ему непочтительный разговор с "Васечкой".

"Сучья война" продолжалась. Само собой случилось то, чего некоторые умные и опытные начальники боялись больше всего. Поднаторев в кровавых расправах — а смертной казни не было в те времена для лагерных убийц, — и "суки", и блатные стали применять ножи по любому поводу вовсе не имеющему отношения к "сучьей войне".

Показалось, что повар налил супу мало или жидко — повару в бок запускается кинжал, и повар отдает богу душу.

Врач не освободил от работы — и врачу на шею заматывают полотенце и душат его...

Заведующий хирургическим отделением Центральной больницы укорил видного блатаря в том, что воры убивают врачей и забыли о "Красном кресте". Как, дескать, земля не расступится под их ногами? Блатарям чрезвычайно импонирует обращение к ним начальства по таким... "теоретическим вопросам". Блатарь ответил, ломаясь и выворачивая слова с передаваемым блатарским акцентом:

"Закон зизни, доктор. Разные бывают положения. В од-

ном случае — так, а в другом — совершенно иначе. Жизнь меняется”.

Наш блатарь был неплохим диалектиком. Это был обо-зленный блатарь. Случилось так, что, находясь в изоляторе и желая попасть в больницу, он засыпал себе глаза истертым в порошок чернильным карандашом. Выпустить-то его из изолятора выпустили, но квалифицированную врачебную помощь он получил слишком поздно — он ослеп навеки.

Но слепота не мешала ему участвовать в обсуждении всех вопросов блатной жизни, давать советы, выносить авторитетные и обязательные суждения. Как сэр Вильямс из “Рокамболя”, слепой блатарь по-прежнему жил полной преступной жизнью. В расследованиях по “сучьим” делам достаточно было его обвинительного вердикта.



Спокон веку в блатном мире “сукой” назывался изменник воровскому делу, вор, передавшийся на сторону уголовного розыска. В “сучьей войне” дело шло о другом — о новом воровском законе. Все же за рыцарями нового ордена укрепились оскорбительное название “сук”.

У лагерного начальства (кроме первых месяцев этой “сучьей войны”) “суки” не пользовались любовью. Начальство предпочитало иметь дело с блатарями старого покроя, которые были понятней, проще.

“Сучья война” отвечала темной и сильной воровской потребности — сладострастного убийства, утоления жажды крови. “Сучья война” была слепком с событий, свидетельствами которых блатари были ряд лет. Эпизоды настоящей войны отразились, как в кривом зеркале, в событиях уголовной жизни. Захватывающая дух реальность кровавых событий чрезвычайно увлекала вожakov. Даже простая карманная кража ценой в три месяца тюрьмы или квартирный “скок” совершаются при некоем “творческом подъеме”. Им сопутствует ни с чем не сравнимое, как говорят блатари, духовное напряжение высшего порядка, благодетельная вибрация нервов, когда вор чувствует, что он — живет.

Во сколько же раз острее, садистически острее, ощущение убийства, пролитой крови, и то, что противник — такой же вор —

еще усиливает остроту переживаний. Присущее блатному миру чувство театральности находит выход в этом огромном, многолетнем кровавом спектакле. Здесь все — настоящее и все — игра, страшная смертельная игра. Как у Гейне:

"Мясом будет точно мясо,  
Кровью будет кровь людская".

Блатари играют, подражая политике и войне. Блатные вожаки оккупировали города, высылали отряды разведки, перерезали коммуникации противника, осуждали и вешали изменников. Все было и реальностью, и игрой, кровавой игрой.

История уголовщины, насчитывающая много тысячелетий, знает много примеров кровавой борьбы бандитских шаек между собой — за зоны грабежа, за господство в "преступном мире". Однако многие особенности "сучьей войны" делают ее событием, единственным в своем роде.

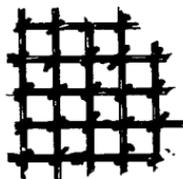
ОПЕТ  
ВОЛКОВ

ПОГРУЖЕНИЕ  
ВО  
ПЫЛУ



Éditions  
**ATHENEUM**

10 bis, rue Duhesme 75018 Paris  
Tél. : 42.62.14.21



В мягкой обложке — 150 фр. фр.  
В твердом переплете — 195 фр. фр.

А. Жолковский

### "АРИСТОКАСТРАТКА"

Профессор З. читал статью о Зощенко. Как уже отмечалось, профессор не обладал иммунитетом против распространенных на его новой родине экзистенциальных поветрий, и определенность его личности оказывалась иной раз весьма зыбкой. И титул, и инициал были не более, чем переводными эквивалентами, да и скрывавшийся за ними Неизвестный Мыслитель ощущал себя неким подставным лицом, которое все чаще задавалось вопросом, что же оно действительно думает о прочитанном.

Впрочем, в данном случае условность инициала была как раз кстати, ибо подтачивала несуразное двойничество с любимым автором. Но многое оставалось двусмысленным, и прежде всего, само ночное чтение, происходившее в состоянии полубессонницы-полудремы и предпринятое в сугубо снотворных целях. Вполне вероятно, что с какого-то момента клевавший носом профессор уже не читал статью, а мысленно кружил над ней, перебирая ее основные аргументы. Перебирание это, или, если угодно, перепархивание, все более замедлявшееся по мере того, как веки профессора тяжелели, вызывало смешанные чувства, ибо, с одной стороны, написанное представлялось несусветной ересью, а с другой, удивляло сходством с некоторы-

---

Описанное в рассказе является продуктом художественного вымысла, а всякое сходство с реальными лицами, событиями и научными идеями — случайным совпадением.

ми из собственных наблюдений профессора, никогда, впрочем, не казавшимися ему достойными его солидного пера.

В этой точке полет его мысли прервался, опутанный спастической дремотой. Но вскоре он проснулся, повидимому, от резкого движения жены, на месте которой, однако, обнаружил неизвестную женщину. Глаз незнакомки не было видно, но рот был полуоткрыт, и она нежно тянулась к профессору, терявшемуся в догадках, каким образом ей удалось тайно проникнуть к нему. Когда же он, наконец, отбросил колебания, женщина открыла глаза, и он узнал свою жену, готовую с удивленной благодарностью принять его ласки. Тут профессор проснулся уже по-настоящему, по соседству, однако, не с женой, с которой давно не жил вместе, а все с той же сомнительной статьей о Зощенко.

Сомнительной, в частности, потому, что привычный весельчак подменялся в ней мрачноватой фигурой ипохондрика, занятого фрейдистским самоанализом. Профессор с тоской подумал, что перед ним сочинение еще одного американского слависта, проецирующего на писателя собственный identity crisis, и уже скользнул взглядом в поисках имени автора, когда вспомнил, что Зощенко и сам настаивал на серьезности своих теорий самолечения. Более того, в автобиографической повести он представлял столь травмированным человеком, что мысль о навязывании ему каких-то психических проблем со стороны повисала в воздухе.

Но автор статьи, видимо, не имел в виду ограничиться разбором "Перед восходом солнца". С большим апломбом он предрекал наступление зощенкоковского бума, в ходе которого автору "Аристократки" предстоит, затмив Пастернака, Булгакова, Платонова и Набокова, сделаться следующим гением №1, а соответственно и наступление нового этапа в зощенковедении. Явно намереваясь возглавить этот этап, он призывал к тотальному пересмотру всего написанного Зощенко в свете его болезненных комплексов.

В каком-то смысле идея единого прочтения не могла не импонировать структуралистским вкусам профессора. Не хотелось ему и оказаться в хвосте очередной научной революции, возможно, последней на его веку, тем более, что он и так уже с некоторых пор заигрывал с немногочисленной, но шумной школой психоаналитической славистики (возглавляемой здо-

ровым на вид усачом-профессором, фамилия которого, однако, своей удвоенной французистостью буквально взывала о фрейдистской интерпретации) и даже обнаружил в нескольких юмористических вещах Зощенко мотивы нарциссизма, донжуановского комплекса и статуарного мифа. И если уж сам Зощенко кивал на Фрейда (называя его "буржуазным экономистом или, кажется, химиком"), то почему бы и не внять этим подсказкам, а если да, то от кого же и ждать более интимного знакомства с его травмами?

Решив придержать свой скептицизм, профессор З. снова обратился к статье. Автору нельзя было отказать в дерзости — срывание традиционных одежд он брался начать с "Аристократки", совершенно свободной от медицинской проблематики. То есть, статья, как водится, начиналась с эшелонированных подступов к теме, в частности, с внушительного списка зощенковских рассказов о больницах, душевных расстройствах, старении, похоронах и проч., но затем автор отбрасывал костыли и принимался за дело с завидной лихостью. *"Чтобы выявить историю болезни героев, да и самого автора "Аристократки", необходимо забыть о комических положениях рассказа, забавных словечках, изображении мещанского быта и т.д. и задаться вопросом, что же там происходит в самом общем экзистенциальном смысле..."*

Перспектива забыть о литературных достоинствах писателя не особенно обрадовала профессора. Как? После искусов формализма, полифонии и теории эзопова языка — назад к фавбуле? Разумеется, дело не сведется к пересказу содержания — автор наверняка приправит его различными комплексами, но тем, пожалуй, хуже. ("Чем хуже, тем лучше, — подумалось вдруг профессору. — А почему, собственно?" — спохватился он, но мысль ускользнула.) Надо сказать, что грубый упор на содержание был одним из упреков, обычно адресуемых самому профессору, сочинения которого пестрели оборотами типа "выявить глубинный инвариант", "отвлечемся от деталей" и "на самом абстрактном уровне". В этом контексте неизвестно откуда взявшийся опус о Зощенко приобретал неприятный привкус. ("Уж не пародия ли он" — подумал профессор, но тут же с отвращением вычеркнул эту цитату из мысленного свитка своей интеллектуальной автобиографии, как слишком близко лежащую.)

Для защиты особой утонченной грубости собственных методов у профессора был разработан целый арсенал приемов, в том числе ссылки на авторов с безупречной эстетической репутацией, вроде превосходного пассажи из Пастернака, так и начинавшегося: "Попытаемся отвлечься от характеров, их развития, от ситуаций романа "Мадам Бовари", сюжета, темы, содержания..." Однако молодой автор статьи об "Аристократке" (профессор был уверен, что речь идет о молодом нахале, хотя личность его установить пока не удавалось, ибо в небрежной ксерокопии его фамилия была изжевана машиной до неузнаваемости), видимо, нисколько не стеснялся своего редуционизма.

*"...Мужчина знакомится с женщиной, она активно идет ему навстречу, но в решительный момент он отказывается от нее..."* — "Понятно, — подумал профессор, — вариация на тему рандеву лишнего человека с сильной русской женщиной", — однако, заглянув в текст, понял, что все еще витает в литературоведческих облаках. *"Это, — говорилось в статье, — типичный для Зощенко мотив страха перед женщиной, восходящий к ранней травме насильственно прерванного кормления грудью..."* — "Ну, знаете, — не выдержал профессор, — отсюда недалеко и до кастрации, импотенции, гомосексуализма, чего угодно. А что, «Ложи взад» — чем не гомосексуализм?". Профессор быстро пробежал статью, но слова "взад" среди цитат, как будто, не было. Зато в целом гипотеза подтверждалась. *"Как же развивается эта тема? Если пересказать перипетии сюжета схематично, отвлекаясь от их фактического наполнения, то получится, что герой готов, так сказать, порадовать даму один раз, но она требует еще и еще, невзирая на его протесты, пока, наконец, на четвертом повторе не наступает поворот, ведущий к разрыву"*.

Профессор заметил, что читает с интересом. Молодой нахал (который чем-то напоминал профессору его самого в те желторотые годы, когда он еще не был ни литературоведом, ни профессором, ни тем более З.) был не лишен остроумия. Следовало признать также, что аналогия "еда — секс", одна из распространенных в литературе задолго до Фрейда, эксплуатировалась в рассказе вполне в открытую: "хожу вокруг нее, что петух", "подходит развратной походочкой к блюду", "взяла меня этакая буржуйская стыдливость", и т. д. Профессор даже несколько распушил перья, вспомнив, что и сам не раз отдавал

дань сексуальному подтексту рассказа, в критические моменты влетая в свои диалоги с дамами зощенковское "Натошак — не много ли? Может вытошнить", чтобы услышать в ответ блаженное, но и вызывающее "Ничего, мы привыкли". Прервав поток воспоминаний, профессор вернулся к статье и несколькими абзацами ниже установил, что на этот раз попал в точку.

Окрыленный успехом, он решил вычислить и промежуточные ходы. "Ну, что там может быть? Фаллические символы, страх кастрации, тотем и табу... Посмотрим, что в этом смысле предлагает "Аристократка". Профессор не поленился сходить за книгой и углубился в текст. Бесстыдно оргазмическое пирожное "с кремом" и "хвост", под который герою попала вожжа, годились в пародию, но от молодого нахала можно было ждать чего-нибудь поизобретательнее. "Будем рассуждать логично, — профессор мобилизовал весь свой аналитический аппарат. — Где кульминация неспособности героя продолжать исполнение кавалерских обязанностей? Конечно, там, где возвращается четвертое пирожное. Как оно описано? "Хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем сделан и пальцем смято". Вот вам и символ импотенции, к тому же, кажется, с почтенной интертекстуальной генеалогией", — профессор даже захлебнулся от возбуждения, сообразив, с какой именно. "Анна на шее"! Груша, которую в театральном буфете мял пальцами и клал на место скупой и сексуально негодный муж Анны, любившей, кстати, "шоколад и яблочное пирожное"! "Ай да З!", — подумал было профессор, но, с раздражением поймав себя на том, что втягивается в игру, предложенную нахалом, пообещал себе держаться от него на приличном расстоянии.

Задача облегчалась тем, что до чеховского подтекста молодой варвар не додумался, а продолжал гнуть свою незамысловатую фрейдистскую линию — с большой, надо отдать должное, хваткостью. "Сексуальные потенции героя символизируются деньгами, которых у него "кот наплакал, самое большое что на три", точнее, "в обрез (!) на четыре штуки". Что это уравнение — не наши, выражаясь языком героя, смешные фантазии, видно из непосредственно следующей фразы: "Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег — с гулькинос".

Профессор был сражен. Над намеком на скоротечность зякулящий котющего героя можно было посмеяться, а недо-

статочность четырехкратного их повторения даже и оспорить, но против скульптурности измерительного (если не разминочного) жеста в кармане возразить было нечего, не говоря уже об убийственных коннотациях женского носика, тем более, что на этот раз автор статьи оказался на высоте и не только помянул Гоголя, но и указал на настойчивость зоценковского самоотжествления с ним. В общем, дело принимало крутой оборот, и во втором туре, где соперников ожидала сама аристократка, сплеховать было никак нельзя.

Поединок продолжался с переменным успехом. Профессор правильно вычислил, что героиня — тип кастрирующей роковой женщины, пугающей героя своими туалетами, светской опытностью и эротической ненасытностью, и даже обскакал юного фрейдиста, обратив внимание на золотой зуб, лейтмотивно блестящий "во рту" аристократки. "Vaginam dentatam-то ты и не заметил", — съехидничал профессор, для полного шика употребив аккузативную форму. Однако он совершенно проморгал напрашивающуюся, в общем-то, связь между сексуальной партнершей и образом матери, в подтверждение чего неутомимый фрейдист к тому же выискал соответствующий эпизод из детства писателя. *"Маленький Зоценко у калитки ждет возвращения матери из города и с ужасом воображает подстерегающие ее опасности (в частности, кафе, где она "что-нибудь скушала и заболела")*. Наконец, она появляется: *"С криком я бегу к ней навстречу. Мама в огромной шляпе. На плечах у нее белое боа из перьев. И бант на поясе. Мне не нравится, что мама так одевается. Вот уж ни за какие блага в мире я не надел бы эти перья. Я вырасту большой и попрошу маму, чтобы она так не одевалась. А то мне неловко с ней идти — все оборачиваются. — Ты, кажется, не рад, что я приехала? — спрашивает мама. — Нет, я рад, — равнодушно говорю я"*.

Проводя параллели с "Аристократкой", автор статьи не упустил, кажется, ни одной выигрышной детали. Там был и эдипов комплекс, вплоть до желания вырасти и жениться на матери; и страх, внушаемый туалетами, в частности, "бабами, которые в шляпках" (с филиппики по их адресу начинается рассказ); и бесплодность ревнивых попыток контролировать поведение женщины; и финальное отчуждение. Профессору удалось добавить лишь одну тонкость. Так же, как мальчику "неловко" идти с разодетой матерью — "все оборачиваются",

герою "перед народом совестно" гулять по улицам под руку с аристократкой. Это "совестно" предвещает "буржуйскую стыдливость" у буфетной стойки ("дескать, кавалер, а не при деньгах") — страх публичной кастрации, каковая и постигает героя, когда "народ хохочет" над "всяким барахлишком", вывалившимся из карманов вместо денег. Но фрейдист не остался в долгу и усмотрел во фразе "Что вы меня все по улицам водите?" эффектную переключку с еще одним мемуарным эпизодом. *"Вторую неделю мы с Вами ходим по улицам", — говорит автору его знакомая, побуждая его к интимной встрече, символическим аналогом которой в "Аристократке" служит выход в театр, тоже по инициативе женщины".*

Под влиянием знакомой ситуации платонического хождения по улицам мысли профессора изменили направление. Инициативная женщина и боязливо уклоняющийся от ее авансов автор, несомненно, составляли один из центральных мотивов автобиографической повести; а в грустно-серьезном рассказе "Двадцать лет спустя" нерешительный герой терял любящую его женщину даже дважды. По логике статьи, все это следовало отнести к самому писателю. А что, если и правда отвлечься от текстов и представить себе Зоценко в роли кавалера, не знающего, как устроиться с дамой? Действительно ли он был так робок? А как же его репутация неотразимого брюнета, попавшая даже в фельетоны и породившая самозванцев, которые под именем Зоценко собирали по всей стране щедрый урожай дамских восторгов? Зоценко ссылается на сверхкомпенсацию. Еще одна категория, но что это значило на самом деле? Известно, например, что Зоценко (как и его отец) жил отдельно от жены, говоря, что детские крики мешают ему работать. Что он, хотел развязать себе руки для компенсаторных романов? освободиться от постоянного присутствия Жены, Женщины, Матери? или действительно предпочитал Работу над Текстом отношениям с дамами? В памяти профессора вдруг ожило впечатление, когда-то произведенное на него перепиской Флобера с Луизой Колле. Та зазывает его в Париж, а он под разными предложениями отнекивается, явно предпочитая Эмму (которая, как известно, "это я"). Флоберовский урок был воспринят с благодарным шоком узнавания: "Ага! Не обязательно! Можно и не ездить! Для звуков — можно и не щадить!"

Размышления уводили профессора в сторону. Что же он

все-таки знает о Зоценко? Он вспомнил, как одна ленинградская знакомая (психоанализ ее личности и своих с ней отношений он твердо решил оставить в стороне) водила его в дом к милой пожилой женщине, в свое время — возлюбленной Зоценко. Коллекционирование дам сердца Зоценко было одним из хобби, распространенных в среде ленинградской богемы, но профессора З. познакомили только с одной. Впечатление от визита осталось бы сугубо умозрительным; если бы не вызвало в памяти эпизод, произошедший при посещении будущим профессором З. (а тогда еще стеснительным молодым гением) редакции центрального лингвистического журнала.

Ответственного редактора, к которому у него было дело (и отчество которого в торопливой записке он вскоре переврал, позорно перепутав наследника великой литературной династии с его тезкой из захудалой самозванной ветви) не было на месте, и дело пришлось изложить сотруднице редакции. Эта "прилично одетая дама с остатками поблекшей красоты", услышав фамилию и спросив отчество посетителя, так и просияла: "Вы не сын ли будете Петра Платоновича? Дайте-ка я на Вас посмотрю. Петушок, как мы его называли, был очень красив". Вспомнив эту сцену, профессор, привыкший полагать, что ранняя смерть родителей избавила его от соответствующих комплексов, опять растерянно покраснел. Тогда он был много моложе отца в момент смерти, теперь гораздо старше, но, наверно, и сейчас знал о жизни меньше него и во всяком случае меньше, чем о Структуре Текста, под сень которой и поспешил ретироваться.

Впрочем, и здесь, как тотчас же отдал себе отчет профессор, утешительного было мало. Основательность текстуальных наблюдений, продемонстрированная молодым нахалом, настораживала. Уж не скрывался ли под его именем кто-либо из почтенных коллег-соперников, а то и собственный многолетний соавтор профессора, кстати, специалист по Зоценко? Если же это была искусная пародия, принадлежавшая перу..., — профессор поморщился, представив себе далеко не гулькин нос, а главное, полный зубастого блеска стиль подозреваемой пародистки, — то от этого самолюбие страдало ничуть не меньше.

Следующий ход безымянного автора оказался вполне предсказуемым, что не уменьшало его убедительности. Материалом, облекавшим кастрационный скелет рассказа, служи-

ла обратная сторона той же детской травмы — комплекс недоедания, развившийся впоследствии в тяжелую болезнь, от которой Зоценко и скончался, à la Гоголь уморив себя голодом. Дополнительный фокус состоял в том, что аристократка унижала героя сразу и по линии секса, и по линии еды, обжираясь у него перед носом и за его счет, в то время как он до еды не дотрагивался (даже пирожное с "надкусом", за которое "заплочено", "докушал — за мои-то деньги" какой-то посторонний "дядя"). Тут пригодился и воображаемый заход мамы в кафе, где она могла "скушать" что-то не то, и, разумеется, многочисленные истории с отказом от еды, дегустированием, обжорством и добровольно-принудительным дележом с другими. В частности — эпизод из детства, в котором отец, воспитывая в маленьком Мише щедрость, покушается на его блины. Ребенок делится, но с неохотой: "Один блин, пожалуйста, кушай. Я думал, что ты все скушаешь".

*"Поскольку речь зашла о фигуре отца, отношения с которым проходят под знаком эдипова комплекса, уместно задать вопрос, как эта фигура репрезентирована в "Аристократке"*. Профессор З. озадаченно окинул рассказ внутренним оком, однако никакого отца или хотя бы старшего соперника там не обнаружил, — кроме, разве, буфетчика, который "держится индифферентно — перед рожей руками крутит". Но оппонент не побрезговал и буфетчиком, *"издевательски заставляющим героя подчиниться диктату принятых норм поведения. Рассказы Зоценко изобилуют подобными носителями власти — банкичками, кондукторами, управдомами, милиционерами, начальниками станций и т. п., а изображение отца в "Перед восходом солнца" и в рассказах о Леле и Миньке в качестве авторитарной высшей инстанции не оставляет сомнений в психологической подоплеке этого мотива. Представитель порядка вершит свой суд публично, часто при поддержке толпы, сопровождая его нравоучениями и ссылками на табу, нарушителем которых оказывается герой, претендующий на женщину и вообще пытающийся выделиться из стада"*.

Профессору вдруг надоело сопротивляться. В конце концов, это занимательное литературоведение по Фрейду было вполне удобоваримо (уж скорее, чем унылое зубоскальство деконструкторов, тоже пытающихся подменить собой писателя, но располагающих для этого лишь парой каламбурных прие-

мов типа "аристократка" = "Аристотель" = "фаллоκραтия"), а рецепт несложен. К первому попавшемуся эпизоду из жизни автора подыскивается какая-нибудь параллель в юмористическом рассказе. Ее, как правило, нетрудно натянуть на ту или иную из фрейдистских моделей — тем более, что допускается любая подгонка; попутные ассоциации с произведениями русской и мировой классики тоже подшиваются к делу. Собранный материал излагается, в зависимости от вкусов исследователя, либо с максимальными повествовательными эффектами, либо с сухостью скучающего всезнания. Переведа дух после этой мысленной тирады, профессор решил подкрепить теорию практикой.

"D fdnj,bju'fabxtcrjq cwtyt gj'ju jnwf...", — взглянув на экран, профессор скривился, поняв, что забыл перейти на программу кириллицы. Пришлось начать снова: "В автобиографической сцене похорон отца Зоценко упоминается его мозаика "Отъезд Суворова" на стене Суворовского музея. "В левом углу картины имеется зеленая елочка. Нижнюю ветку этой елочки делал я. Она получилась кривая, но папа был доволен моей работой". Начало многообещающее: детство; отцы и дети; смерть отца = отъезд полководца; сотрудничество/соперничество в искусстве. Непонятно только, что делать с елочкой. Хотя... Среди детских рассказов есть один, который так и называется "Елка", — тот, где дети начинают еще до прихода гостей объедать сладости с рождественской елки, причем Леля, "длинновязая девочка", может "до всего достать", а маленький Минька вынужден довольствоваться обкусыванием одного и того же "райского яблочка" на самой нижней ветке; в конце рассказа отец поучает и наказывает детей. Налицо богатый обший знаменатель: елка, которой распоряжаются отец, и нижняя ветка, приходящаяся на долю сына. Правда, исход не так идиллический, но, собственно, намек на конфликт был и в автобиографическом эпизоде — ветка "получилась кривая". К тому же, нравоучения отца ставят его в один ряд с морализирующими банщиками, а "райское яблочко" укореняет этот ряд в солидной библейской почве — Адам и Ева, древо познания, запретный плод, божий гнев, изгнание из рая. В свою очередь, от греховного поедания яблока протягиваются нити к страхам по поводу как еды, так и секса..."

Почувствовав себя полноправным соавтором, профессор

заговорил в более благодушном тоне. — "Ну, хорошо. Допустим, все это так. Допустим, что эдипов комплекс найден, женобоязнь выявлена, уравнение "деньги — секс" доказано. Действительно, в эпилоге аристократка формулирует это уравнение впрямую: "Которые без денег — не ездят с дамами", и хотя герой возражает ей, говоря, что "не в деньгах, гражданка, счастье", но и он понимает неизбежность разрыва. Он лишь делает хорошую мину при плохой игре — подобно донжуану из "Личной жизни", который, убедившись, что невнимание "женского состава" объясняется его "почти трехзначным" возрастом, решает, что "не только света в окне, что женщина", смеется над теориями "буржуазного экономиста" о ценности секса, "плюет направо и налево и отворачивает лицо от проходящих женщин". Хорошо. Пусть все эти фрейдистские комплексы налицо, но значит ли это, что в них суть? Сексуальный аккомпанемент никак не отменяет главного — сатиры Зоценко на новую культуру, да, культу-ру, — с внезапной назидательностью повторил профессор вслух, — культуру, о которой за своими эротическими манипуляциями склонен забывать наш уважаемый оппонент".

Того, однако, трудно было заставить врасплох. *"Очевидно, что выявленные невротические мотивы не менее характерны для Зоценко, нежели его гораздо лучше изученные приемы юмористической деконструкции культурных претензий "нового человека". Естественно предположить, что эти два ряда инвариантов находятся в тесной связи друг с другом. Согласно Фрейду, смех — один из механизмов сублимации подавляемых комплексов, а культура — не что иное, как форма господства сверх-я, то есть интериоризированного субъектом родительского начала. Поэтому есть все основания постулировать пропорцию между двумя замаскированными, но устойчивыми тождествами типа "автор = персонаж". В сюжетном плане, глубоко травмированного автора представляет его жалкий герой, не справляющийся с жизнью, тянущийся к еде, женщинам, деньгам, славе и т. п. и грубо отгоняемый или пугливо шаркающий от них; даже в наиболее смешном персонаже Зоценко можно разглядеть самого М.М. — задача это увлекательная, трудная, но разрешимая".* — "Ну, это уж слишком", — не выдержал профессор, столь хрестоматийной вульгарностью было смешивать автора с героем, а тем более мастера сказа с его персонажем-мещанином.

*"Подобная лабильная психика, — невозмутимо продолжал автор статьи, — составляет подоплеку соответствующей культурной позиции. В автобиографической повести есть глава, где маленький Зощенко, спасаясь вместе с сестрами от грозы, бросает собранный букетик. Когда Леля начинает бранить его, он говорит: "Раз такая гроза, зачем нам букеты?" Эти слова предвосхищают самую суть отношения будущего писателя к изощренной культуре — уверенность, что раз революция, то больше ни к чему букеты, тонкие чувства, дамы с цветами и грустными глазами, незнакомки в шляпах с траурными перьями, поэмы про луну и романтическую любовь, все эти попытки сделать вид, будто "в стране ничего не случилось". В психологическом плане "Аристократка" сводит счеты автора с матерью и женщинами вообще, а в литературном, — с "Незнакомкой" Блока (приблизительной ровесницей которой была мать Зощенко) и со всей символизируемой ею декадентской культурой. Разумеется, позиция автора, прячущегося за своим малокультурным, но симпатичным сказчиком (и, кстати, начавшего свою литературную карьеру со сказового подрыва блоковской поэтики), двойственна. Он ироничен по отношению и к старой эстетике, и к сменившему ее грубому примитиву, как было убедительно показано в недавней работе о Зощенко и Толстом".*

Профессор вздрогнул и затравленно огляделся, как петух, у которого из хвоста выщипнули самое яркое перо. Ссылка на его собственную статью была ударом ниже пояса. Профессор мог читать или не читать молодого нахала, спорить с ним или соглашаться, даже соревноваться с ним, побеждая или терпя отдельные неудачи. Но чтобы тот читал и оценивал профессора?! Наступал момент истины. ("Момент истины! A moment of truth!" — профессор вспомнил ту радостно-брезгливую интонацию, с которой повторял эти слова Набоков в документальном фильме о его жизни в Монтре, и почувствовал минутное облегчение.) "Либо, — он старался держаться логики, — это чушь, "типичный западный вздор", с которым стыдно иметь что-либо общее... А поскольку общее все время лезет в глаза, то лучше, чтобы ничего этого не было. Либо... Несомненно, в статье что-то есть. Но тогда... тогда тем более желательно, чтобы ее не было". Профессор вдруг с ясностью ощутил, какое именно чувство подспудно давило его все это время.

Зависть! Он просто завидовал молодому наглецу, общего с которым ему скорее недоставало. Читал и завидовал, и никаких дубликатов бесценного груза достать из своих широких штанин так и не смог, ха-ха, в обрез на четыре штуки! Кавалеров, а не при деньгах! Амур без перьев — нетопырь, едва вспорхнет — и нос повесит! Да и висит-то он у Вас как-то криво! Порезвившись на цитатной клавиатуре, хотя бы и на собственный счет, профессор несколько воспарил духом. *"Есть еще порох в пороховницах, а если бы его не было, его следовало бы выдумать!.. Вот именно, если бы его не было..."* "Что пользы в нем? Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желанье в нас, чадах праха, после улететь! Так улетай же! чем скорей, тем лучше", — и чтобы духу твоего не было... А дальше что? А дальше, — профессор окрыленно подмигнул неизвестно кому, ибо продолжение внезапно сооткалось из полувоздушности этих отрицательных заклиний, — *дальше, например, вот это: "Боги, боги, какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи, ведь ее не было? — Ну, конечно, не было, это тебе померещилось"*."

"Померещилось — и будет", — выпорхнуло откуда-то еще. Профессор сделал усилие, очнулся и тотчас же кинулся к статье, которой, однако, нигде не было видно. Ее не было, и, значит, ее можно было написать. Пальцы профессора запросились к перу и бумаге... Можно было — но стоило ли? Помедлив, перо вывело заголовок, наискось перечеркнуло его и вновь повисло над страницей.

"СИНТАКСИС" -репринт  
цена 58 фр.фр.



МЕДАЛИ ЗЕМЛЮК  
О ЧЕМ  
ПЕЛ СОЛОВЕЙ

Андрей Синявский

## МИФЫ МИХАИЛА ЗОЩЕНКО

В сборнике, посвященном Зощенко, писатель Геннадий Гор вспоминает:

”Как-то зашел разговор о чрезвычайно популярном на Западе, введенном Юнгом, понятии ”архетип”... Если его перевести на обыденный язык... то нужно прийти к выводу, что на уровне подсознательного... все люди наполнены архаическим, существующим еще со времен среднего палеолита психическим слоем, порождавшим когда-то мифы, а сейчас — художественные произведения.

Я не могу теперь точно воспроизвести мысли Зощенко, но они поразили меня своим изяществом. Зощенко считал, что писатель должен описывать в человеке не только личное, но и ”родовое”, то, что в его психике отложила история...

Я пишу обо всем этом, чтобы читатели не представляли Зощенко бытовым... каким его иногда изображали плохо понимавшие его критики”\*

В продолжение той же версии позволю себе заметить, что Зощенко, в том числе самый ”бытовой” Зощенко, живет в мифе мифов, которые преследуют человека. Это не только внешняя угроза. Это также непонятные страхи, определявшие состояние черной меланхолии, в которое он периодически впадал. Человек, в понимании Зощенко, всю жизнь ищет, как убежать или как защитит себя от неведомой опасности. Опасность же

---

\* ”Михаил Зощенко в воспоминаниях современников”. М., 1981, стр. 167-168.

чаще всего исходит от бессознательных "первообразов страха", которые могут дополняться и осложняться другими факторами, идущими уже от его социального бытия, но которые в основе представляют своего рода "мифологию" человеческого существования на уровне детской и почти животной жизни.

Попытаюсь показать это в первую очередь на материале повести Зошенко "Коза" (1922 г.), открывающей книгу его "Сентиментальных повестей". Литературный сюжет повести "Коза" и ее центральный персонаж Забежкин, мелкий канцелярский служащий советских уже времен, восходят к "Шинели" Гоголя и (отчасти) к "Невскому проспекту". Подобно тому, как у гоголевского Башмачкина все в жизни сосредоточилось на шинели, так у Забежкина все замкнулось на козе. При всем том Забежкин — маленький человек — с самого начала ведет себя как герой пародийно-романтического склада. В первой же фразе повести он громко сморкается за пять минут до окончания работы, как иерихонская труба, от которой падали стены крепости, чем возбуждает негодование начальства. Громовое сморкание — это протест, это дерзкий и воинственный вызов, который он бросает судьбе.

Обратимся прежде всего к фамилии героя — Забежкин. Как выясняется по ходу рассказа, Забежкин забежал в чужой двор, где находилась роковая коза. Кроме того, он забежал во времени, т.е. слишком поторопился в своих мечтаниях и надеждах, подобно тому как имел привычку сморкаться раньше срока. Таким образом, и характер человека, и его судьба уже заключены в его имени — Забежкин. Слово у Зошенко идет впереди сюжета и управляет сюжетом, который затем реализует это слово.

Опускаю ряд словообразующих и, соответственно, сюжетообразующих звеньев, соединяющих Забежкина с козой. Но вот он заглядывает в калитку:

"— Коза! — сказал Забежкин. — Ей-богу правда, коза стоит... Дай бог, чтоб коза ее была, хозяйкина... Коза! Ведь так, при таком намеке, тут и жениться можно. И женюсь. Ей-богу женюсь. Ежели, скажем, есть коза — женюсь... Ах ты штука какая! Хозяйство ведь. Корова, возможно, или коза дойная. Пускай коза лучше — жрет меньше... Коза! — сказал он, задыхаясь. — У забора коза. Да ведь ежели коза, так и жить нетрудно. Ежели коза, то смешно даже... Пожалуйста. Коза есть. Ко-

за, чорт меня раздери совсем!..”

И через минуту — зайдя во двор:

”У помойной ямы стояла коза. Была она безрогая, и вымя у ней висело до земли.

”Жаль, — с грустью подумал Забежкин, — старая коза, дай бог ей здоровья...”

Забежкин подошел к козе и пальцем потрогал ей морду.

”Вот, — подумал Забежкин, — ежели сейчас лизнет в руку — счастье: моя коза”.

Коза понюхала руку и шершавым тонким языком лизнула Забежкина.

— Ну, ну, дура! — сказал, задыхаясь, Забежкин. — Корку хочешь? Эх, была давеча в кармане корка, да не найду что-то... Вспомнил: съел я ее, Машка. Съел, извиняюсь...”

Притом предполагаемой хозяйки, на которой он готов — из-за козы — жениться, Забежкин еще не видел. Мелькает во дворе лишь ее имя — Домна Павловна. И опять-таки слово предшествует появлению персонажа и его характеризует. То, что даму величают по имени-отчеству — Домна Павловна — говорит о ее солидности и о почтительном к ней всеобщем отношении. Кроме того, имя Домна ассоциируется с ”домом” и с ”доменной печью”, которая горяча, обильна и громадна по своим размерам. Впоследствии все это найдет подтверждение в сюжете, в лице Домны Павловны. А пока что с первого взгляда и навсегда Забежкин всем сердцем прилепился к козе.

Коза для него, рассуждая логически, это воплощение сытой и спокойной жизни, основа материального достатка и независимости от унылой канцелярской службы. И он приложит невероятные усилия, отдаст всего себя этой цели, этой идее фикс — добиться благосклонности хозяйки, чтобы заполучить доступ к ее козе.

Все, казалось бы, очень просто. Как говорится в одном рассказе Зоценко того же времени (”Веселая жизнь”): ”Ах, милостивые государи и дорогие товарищи! Поразительно это, как меняется жизнь и как все к простоте идет... Все идет к простоте необыкновенной”. Это отвечает революционному и послереволюционному времени, когда в результате всеобщей нищеты быт не исчез, а выпер на поверхность и стал проблемой номер один. Это не просто быт, а борьба за выживание. Собственнические инстинкты, хоть и произошла революция, не убы-

вают, а возрастают, принимая уродливые гротескные формы. Выражением этой утрированно-гиперболической простоты советского быта и становится в данном случае коза.

В первый момент создается впечатление, что Забежкиным движут сугубо корыстные интересы. Однако это не так. По сравнению со всеми прочими персонажами Забежкин наименее меркантилен. В сущности это идеалист-мечтатель, хотя его идеалы материализуются в виде козы.

Уже в начале повести, по мере того, как речь Забежкина затормаживается на козе, коза очеловечивается и одухотворяется, получает от Забежкина собственное имя, Машка, становится "моей козой", сопровождается неумеренными восторгами с многократным поминанием имени Божьего. С козой у Забежкина завязываются интимные и, я бы сказал, лирические отношения. Коза вступает с ним как бы в тайный заговор и лижет руку "на счастье". Уже здесь для Забежкина коза единственно близкое и любимое существо. В дальнейшем, перед каждым ответственным шагом, он бежит к козе советоваться; он исповедуется козе; коза становится его главным доверенным лицом; он черпает у козы силы для очередного подвига в борьбе с препятствиями на пути к той же козе.

И вот в момент кульминации, в минуты апофеоза, когда Забежкин, казалось бы, достиг зенита славы (то есть завладел козой), он держит перед Домной Павловной длинную патетическую речь о козе. В самом слове "коза" для него заключена какая-то магия. Коза вертится на языке у Забежкина, он не может от нее отвязаться и в результате проговаривается, что нужна-то ему на самом деле не Домна Павловна, а коза, которая, как вдруг выясняется, Домне Павловне не принадлежит. Напрасно он пытается с помощью того же магического слова заклясть события, изменить неумолимый ход жизни и тупо повторяет, вопреки очевидности: "Ваша коза, Домна Павловна... Ей-богу, ваша коза". В одно мгновение все рушится: Домна Павловна выгоняет его из дома; победа над счастливым соперником — военным телеграфистом, истинным владельцем козы, — оказалась мнимой; с работы его увольняют — из-за той же козы; он выброшен из жизни; а главное, коза становится для него недоступной...

В восторженном монологе о козе, послужившем причиной гибели Забежкина, сам образ козы необыкновенно разра-

стается и открывается нам с нескольких сторон. Во-первых, говорит Забежкин, козу можно безнаказанно бить как существо безропотное, слабое и жалкое. Происходит самоотождествление Забежкина с козой, что подчеркивается аналогичными оборотами речи, когда о себе и о козе Забежкин говорит одинаковыми словами: "Вот, скажем, меня взять"; и тут же рядом: "Вот хотя бы и Машку нашу взять". Ведь и Забежкина можно бить безнаказанно, и еще недавно его, стоявшего на коленях, бил телеграфист, и Забежкин сам просил, чтобы его били. Не побоюсь сказать, что, помимо других значений, коза это внутренний мир, это душа маленького человека Забежкина.

Во-вторых, говорит Домна Павловна, вступая в ту же игру и тоже самоотождествляясь с козой, коза может взбунтоваться и не дать молока. И Забежкин подхватывает эту идею и ее развивает в виде фантастической картины революции, которую совершает коза. "А вдруг да когда-нибудь, Домна Павловна, животные революцию объявят. Козы, например, или коровы, которые дойные... Начнешь их доить, а они бодаются, копытами по животам бьют. И Машка наша может копытами..." Далее Забежкин в своем воображении рисует картину, как коза Машка сначала бодает бухгалтера, начальника Забежкина (который грозит ему увольнением), а потом, разохотившись, бодает и комиссара Ньюшкина (т.е. высшее уже, правительственное начальство):

"Товарищ Ньюшкин из мотора выходит, Арсений дверку перед ним — пожалуйста, дескать, товарищ Ньюшкин, а коза Машка спрятавшись за дверкой стоит. Товарищ Ньюшкин — шаг, и она подойдет, да и тырк его в живот, по глупости.

— Очень просто, — сказала Домна Павловна".

В сущности, это бунт самого Забежкина, маленького человека, против начальства, против силы вещей. Поднявшая революцию коза Машка — это второе, протестующее, романтическое "я" Забежкина.

В-третьих, революция козы направлена против самого Забежкина, только сам он об этом пока не подозревает, рассуждая о революции и находясь на вершине счастья. Коза ударит и Забежкина — в живот.

Зощенко исходил из разных оттенков значений, содержащихся в слове "коза". С "козой" связано слово "каприз" (по латыни "коза" — "сарга", откуда и пошел "каприз"). Фигураль-

но выражаясь, то, что случилось с Забежкиным, это "каприз судьбы". Дело не в том, что конкретная коза Машка — существо капризное и коварное. Напротив, коза Машка животное кроткое (к тому же безрогое) и как будто сочувствующее Забежкину. Но хитроумно подстроенная самую жизнью опасность спрятана в слове "коза". В современном просторечии существует оборот: "заделать козу" — в значении хитроумно подстроенного удара или обмана. А в старинном обиходе и языке бытовала поговорка, которой Зоценко, может быть, и воспользовался для реализации своей "козы". В игре с детьми говорили: "Идет коза рогатая за малыми ребятами: кто титьку сосет, того рогом боднет". Или — просто ребенку показывали "козу" в виде двух пальцев, шутливо пугая: "забодая, забодая..." И все это оживает в тексте Зоценко.

Разгневанная Домна Павловна говорит, развивая мотив бодания в живот: "Я сию минуту тебя наскрозь вижу. Все твои кишки вижу". И некоторое время спустя: "Я у них, у подлецов, все кишки наскрозь вижу". Словом, она пронзает живот. Так что военному телеграфисту в дальнейшем остается похлопывать Забежкина по животу (по большому месту) как бы в напоминание о перенесенном ударе. Но и раньше, еще до всех событий, Забежкин имел на этот счет предуказания. Объясняясь в любви Домне Павловне, он говорит, что раньше, до революции, он "превосходно кушал, рвало даже". Это соединение превосходной пищи со рвотой весьма знаменательно. Здесь Зоценко перенес на Забежкина собственный комплекс, состоявший, в частности, в том, что с еды его тошнило, поскольку еда возбуждала отвращение и ужас. Предупреждением об ударе в живот может служить и загадочная сцена в начале повести, когда Забежкин только-только заходит в чужой двор:

"... У крыльца девка какая-то столовые ножи чистила. И до того она с остервенением чистила, что Забежкин, забыв про козу, остановился в изумлении.

Девка яростно плевала на ножи, изрыгала слюну прямо таки, втыкала ножи в землю и, втыкая, сама качалась на корточках и хрипела даже... Девка изнемогала".

В сущности, это репетиция того, что произойдет с Забежкиным. Втыкание запакощенных ножей в чрево матери-земли допустимо воспринимать как угрозу нашему герою.

В финале повести опустившийся и оборванный Забежкин

случайно встречает Домну Павловну на базаре и отдает ей даром пальто — в знак, должно быть, своего бескорыстия и откровенности от жизни. За это его приглашают обедать по праздникам. Но ходит он исключительно, чтобы проведать козу:

”После обеда Забежкин шел к козе. Он давал ей корку и говорил:

— Нынче был суп с луком и турнепс на второе.

Коза тупо смотрела Забежкину в глаза и жевала хлеб. А после облизывала Забежкину руку”.

Когда его лишают этой последней милости и запрещают встречаться с козой, он исчезает окончательно — может быть, из самой жизни. Об этом сказано в последней фразе: ”Больше Забежкин обедать не приходил”. Зачем ему обедать, зачем ему жить вообще, если нет козы? Возможно, звуковой повтор в последней фразе (Забежкин-обедать: ”бе-бе”) передает прощальное блеянье и расставанье с козой.

Обнаруживается еще один скрытый смысловой поворот, содержащийся в слове ”коза”. ”Коза” это трагедия. Ведь в древнегреческом, самом архаическом значении слово ”трагедия” означало ”козлиную песнь” или ”пение козлов”, что было сопряжено с происхождением этого жанра — трагедии — из дифирамбов, которые пели спутники Диониса, сатиры, называвшиеся козлами. Повесть Зощенко, помимо прочего, это трагедия о козе или трагедия о человеке, потерявшем свое божество в виде козы, божество плодородия.

Кстати говоря, во многих древних религиях, в мифах, в фольклоре козел или коза выступают олицетворением плодородия природы в целом, и с этим были связаны всевозможные ритуалы и игры. Подобный крен повести Зощенко в сторону мифологии не исключает, конечно, что действие здесь развертывается в бытовом ключе. Просто под одним пластом изображения скрывается другой, более глубинный. Да и в сознании Забежкина коза Машка это не только конкретное и чрезвычайно ценное в условиях бедности животное. Это также высшая метафизическая идея, его вдохновлявшая. К этой козе в полной мере приложимо то, что Гоголь писал о Башмачкине, который пустился ради шинели на всевозможные жертвы и ограничения: ”даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование

его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель”.

Нечто похожее происходит с козой у Зоценко. Это тоже не просто коза, а ”вечная идея” козы, связанная с плодородием и питанием, а вместе с тем приобретающая легкий эротический оттенок, как материнское начало, соединенное с женским началом вообще. Ведь коза отчасти сопряжена с Домной Павловой, и путь к козе лежал через сердце Домны Павловны. Забежкин не просто ”врал”, когда объяснялся в любви Домне Павловне. Он любил ее в той мере, в какой она для него совмещалась с козой и была началом питающим (когда она, допустим, в его воображении, ходит по дому ”и все только и спрашивает: не хочешь ли, Петечка, покушать?”). Показательны ее внушительные объемы (из нее ”смело можно двух Забежкиных выкроить, да еще кой-что останется”), как и подобает началу кормящему. В этом качестве объемы Домны Павловны пересекаются с козой, у которой ”вымя висело до земли”. Можно сказать, это гигантская грудь матери-природы, которая вместе с тем должна сделаться супругой Забежкина. А затем это доброе существо оборачивается грозным и мстительным. За кормлением следует возмездие.

Перед этим большим — кормящим и карающим — существом Забежкин выглядит маленьким ребенком. В нем действительно много детского, наивного, незащитного — в отличие от грубой расчетливости окружающих лиц. Я полагаю, Зоценко тут внес многое от себя персонально, не в том смысле, разумеется, что Забежкин это автопортрет Зоценко, а в том, что сознательно или бессознательно повесть ”Коза” несет отчетливую печать зоценковского опыта в плане его первобытной мифологии. Это опыт, как правило, происходящий на уровне ребенка. В позднейшем, взрослом состоянии подобные рефлексy тоже могут проявляться и проявляются, оставаясь в то же время иррациональными в своей основе и как бы младенческими, хотя на них; в подкрепление, накладывается новый опыт уже соци-

ального бытия. Сам Зощенко называл этот нижний слой нашей психики "первичной материей, из которой создан мир", ибо в ней заложены истоки нашего сознания, наших представлений о добре и зле. Об этом он писал в своей позднейшей повести "Перед восходом солнца". Там приводятся факты, которые когда-либо его особенно поразили в жизни, — в частности, связанные с мотивом питания, с женской грудью. Например, очерк "Умирает старик". Дело происходит в начале революции.

"Я стою в крестьянской избе. На столе лежит умирающий старик.

Он лежит уже третий день и не умирает.

Сегодня у него в руке восковая свечка. Она падает и гаснет, но ее снова зажигают.

У изголовья родственники. Они смотрят на старика не отрываясь. Вокруг невероятная бедность, грязь, тряпки, нищета...

Старик открывает глаза и мутным взором обводит окружающих. Губы его что-то шепчут.

Одна из женщин, молодая и смуглолицая, наклоняется к старику и молча слушает его бормотанье.

— Что он? — спрашивает старуха.

— Титьку просит, — отвечает женщина. И, быстро расстегнув свою кофту, берет руку старика и кладет ее на свою обнаженную грудь.

Я вижу, как лицо старика светлеет. Нечто вроде улыбки пробегает по его губам. Он дышит ровней, спокойней.

Все стоят молча, не шевелясь.

Вдруг тело старика вздрагивает. Рука его беспомощно падает вниз. Лицо делается строгим и совсем спокойным. Он перестает дышать. Он умер.

Тотчас старуха начинает голосить. И вслед за ней голоса все".

Мы не в состоянии до конца объяснить эту странную сцену. Очевидно, какие-то первичные рефлексы толкают старика прикоснуться к женской груди. Может быть, перед смертью он ощущает себя младенцем? Или хочет возродиться от источника жизни? И смерть, спрашивается, последовала как награда или как наказание? Возможно, все вместе. Все совершается на уровне подсознания и на уровне, со стороны окружающих, какого-то древнего магического обряда. Вот это и есть то, что я назы-

ваю мифологией Зощенко. От подобной символики протягиваются нити к повести "Коза", где Забежкин столь же инстинктивно стремится к жизненному вымени козы и получает внезапно удар, согласно поговорке: "кто титьку сосет, того рогом боднет".

У Зощенко был также большой личный опыт по части того, что еда сопровождается наказанием или издевательством. В очерке "Хлеб" (из той же повести "Перед восходом солнца") он рассказывает, как было голодно в военном госпитале во время гражданской войны.

"Напротив меня на койке сидит молодой парень в кальсонах. Ему только что привезли из деревни два караваев хлеба. Он перочинным ножом нарезает куски хлеба, мажет их маслом и посылает в свой рот. Это он делает до бесконечности...

Заправившись, он разбрасывает куски по койкам. Спрашивает меня:

— А тебе, интеллигент, дать?

Я говорю:

— Только не бросай. А положи на мой стол.

Ему досадно это. Он хотел бы бросить. Это интересней.

Он молча сидит, поглядывая на меня. Потом встает с койки и, паясничая, кладет кусок хлеба на мой столик. При этом театрально кланяется и гримасничает. В палате смех.

Мне очень хочется сбросить это подношение на пол. Но я сдерживаю себя. Я отворачиваюсь к стене.

Ночью, лежа на койке, я съедаю этот хлеб.

Мысли у меня самые горькие".

Издеательства деревенского парня над интеллигентом Зощенко несколько напоминают издеательства телеграфиста над Забежкиным в последней главе повести "Коза". В итоге подобных опытов — в еду и в само понятие о еде привносятся отвращение и боль. Поглощение пищи иногда оканчивается рвотой. Еда, так же как женщина, и невероятно притягивает, и невероятно пугает, отталкивает. И мотивировку этому Зощенко находил уже на ранних стадиях своего бытия. Когда поглощение пищи ребенком сопровождалось какими-нибудь страшными и непонятными для него событиями.

Самые ранние страхи, связанные с кормлением, по мнению самого Зощенко, возникли у него на уровне младенчества, о котором он ничего не помнит, но знает по рассказам матери.

Однажды "ужасный гром потряс всю нашу дачу. Это совпало с тем моментом, когда мать начала кормить меня грудью. Удар грома был так силен и неожидан, что мать, потеряв на минуту сознание, выпустила меня из рук. Я упал на постель. Но упал неловко. Повредил руку. Мать тотчас пришла в себя. Но всю ночь она не могла меня успокоить". (Вот он — удар козым рогом в живот!) Словом, поясняет Зоценко, он всосал тревогу и страх буквально с молоком матери. К этому надо прибавить, что мальчик питался исключительно долго молоком матери и грудь у него отнимали силой, а он сопротивлялся: "Мать смазывала сосок хиной, чтоб я получил, наконец, отвращение к этому способу еды. Содрогаясь от отвращения и от ужаса, что грудь таит в себе новые беды, я продолжал кормиться". Это было, говорит Зоценко, борьбой за существование.

Мы не знаем, насколько прав Зоценко в определении истинных причин своих кошмаров, сопровождавших его далее всю жизнь. Но это не так уж существенно. Нам важно, что в поле текста повести "Коза", помимо бытовой эмпирики послереволюционной поры, действуют еще "родовые силы", уходящие в глубину подсознания и, может быть, в далекое всечеловеческое прошлое, в мифы древних и первобытных религий. С этой точки зрения, все человеческое бытие отмечено какими-то роковыми конфликтами, что и нашло выражение в судьбе Мих. Зоценко, — в частности, жизнь окрашивается конфликтом между необходимостью питаться и невозможностью это сделать в спокойном и достойном виде, между любовью к недоступной "козе" и страшным сознанием, что "коза" тебе изменит. Это пессимистический взгляд на вещи, но взгляд прикрытый и выраженный средствами грустного юмора. Так же как некоторые "вечные проблемы" у Зоценко получают выражение на остро-современном и пародийном языке.

Всю жизнь Мих. Зоценко старался освободиться от снедавшей его душу тоски. Этим стараниям, в частности, отдано его творчество. Подобно Гоголю, Зоценко пробовал лечиться смехом. С Гоголем он обнаруживал множество точек сближения, начиная с языка, стиля, сюжетов и кончая сходной у обоих писателей психофизической организацией. Попыткам "переро-

даться” были посвящены книги Зощенко “Возвращенная молодость” (1934 г.) и “Перед восходом солнца” (1943 г.). Ему казалось, что путем научного изучения своего внутреннего устройства можно избавиться от болезни. Этого не случилось. Зощенко преувеличивал возможности науки по части вызволения человечества из беды и объяснения иррациональных причин рассудочным методом. Его увлечения наукой сродни попыткам позднего Гоголя с помощью религиозно-рациональных инст­рукций спастись от “страхов и ужасов России”.

Дошедшие до нас письма и высказывания Зощенко, обращенные к друзьям, поражают не жалобами (он не любил жаловаться), но щемящими словами надежды на скорое исцеление. Он пишет, допустим, что тяжело болел и несколько месяцев не выходил из дома, ни с кем не общался, но теперь уже выздоравливает и скоро совсем поправится. Это — рефрен. Скоро, скоро, совсем скоро! Но чем дальше читаешь эти повторяющиеся из года в год заверения, тем становится за него тревожнее. Это своего рода самогипноз, который мало помогает. Друзья Зощенко и его жена свидетельствуют, что он до конца дней так и не исцелился. Тем более, что события его жизни не способствовали оптимизму.

Повесть “Перед восходом солнца” Зощенко назвал первоначально “Ключами счастья” (пародируя заголовок популярного когда-то романа А. Вербицкой). Это название осталось внутренним подзаголовком повести и обозначением темы: как, дескать, на самом деле найти “ключи счастья”? В книге “Перед восходом солнца” Зощенко видел главное свое призвание и с опорой на нее рассчитывал излечиться, разгадав первоисточники своих душевных страданий. Ожидаемого счастья книга ему не принесла. Напротив, с нее началась цепь роковых несчастий, увенчавшихся Постановлением ЦК и убивших Зощенко. Но эта книга содержит многие ключи к его сюжетам и тайнам литературного творчества, будучи второй его художественной вершиной (после рассказов и повестей 20-х гг.).

Она строится как путешествие в собственное прошлое на предмет уяснения своих невротоз, своей повышенной чувствительности к негативным фактам жизни. Чаще всего это не какие-то исключительные события, а самые простые эпизоды и подробности биографии писателя (зафиксированные серией моментальных снимков), которые, однако, выстраиваются в

неумолимый ряд. Зоценко, оказалось, почти всегда жил в "страшном мире". Обыкновенное стадо коров, которое он встречал ребенком, оборачивается стадом чудовищ, готовых его растерзать. Обобщенно-символический характер по отношению ко всей судьбе Зоценко носит очерк "Безумие" из той же книги: поменявшись именами с сумасшедшим двойником, Зоценко перенимает на себя весь гнет преследования. Нет нужды, что в данном случае это страхи мнимые. В любую минуту они способны превратиться в действительность.

"В мою комнату входит человек. Он садится в кресло.

Минуту он сидит молча, прислушиваясь. Потом встает и плотно прикрывает дверь.

Подходит к стене и, приложив к ней ухо, слушает.

Я начинаю понимать, что это сумасшедший.

Послушав у стены, он снова садится в кресло и двумя руками закрывает свое лицо. Я вижу, что он в отчаянии.

— Что с вами? — спрашиваю я.

— За мной гонятся, — говорит он. — Я сейчас ехал в трамвае и ясно слышал голоса: "Вот он... берите его... хватайте...".

Он снова закрывает лицо руками. Потом тихо говорит:

— Только вы один можете меня спасти...

— Каким образом?

— Мы поменяемся с вами фамилией. Вы будете — Горшков, а я — поэт Зоценко. (Он так и сказал — "поэт".)

— Хорошо. Я согласен, — говорю я.

Он бросается ко мне и пожимает мою руку.

— А кто же за вами гонится? — спрашиваю я.

— Этого я не могу сказать.

— Но я же должен знать с тех пор, как я ношу вашу фамилию.

Заламывая свои руки, он говорит:

— В том-то и дело, что я сам не знаю. Я только слышу их голоса. И ночью вижу их руки. Они тянутся ко мне со всех сторон. Я знаю — они схватят меня и задушат.

Его нервный озноб передается и мне. Я чувствую себя нехорошо. У меня кружится голова. Перед глазами круги. Если он сейчас не уйдет, я, вероятно, потеряю сознание. Он действует на меня убийственно.

Собравшись с силами, я бормочу:

— Идите. Теперь у вас моя фамилия. Вы можете быть спокойны.

С просветленным лицом он уходит.

Я ложусь в постель и чувствую, как ужасающая тоска охватывает меня”.

Мотивам преследования посвящен и ряд ”сентиментальных повестей”. В частности — повесть ”Аполлон и Тамара” (1923 г.) — о возвышенной и неудачной любви. Аполлон — по профессии тапер, играющий на танцевальных вечеринках в провинциальном городе, — при скромной своей должности и ограниченном даровании, искренне любит искусство и вдохновенно служит ему, как натура романтическая, с тонкой душевной организацией, и к тому же красавец собой. В данном случае Аполлон, разумеется, это имя пародийное, но имеющее некое сходство с подлинным Аполлоном — богом солнца, поэзии и гармонии, богом музыки и предводителем муз. А имя Тамара — прочно связано с лермонтовской традицией. В провинциально-романтическом восприятии прочно укоренилось, что Тамара предполагает красавицу с экзотическим (иногда роковым) оттенком. Аполлон — воплощение мужской красоты, Тамара — эталон красоты женской, и они как бы созданы друг для друга, для возвышенной и счастливой любви. Но все это пустые слова, которые легко разбиваются грубой и обыденной жизнью, — та, по мысли Зоценко, вообще устроена не так, как воображают наивные романтики. Рассудительная Тамара выходит замуж за коммерсанта, а в музыке Аполлона, на втором витке сюжета, ”нельзя было проследить ни мотива, ни даже отдельных музыкальных нот — это был какой-то ужасающий, бесовский рев животного”. Это вой над бессмысленностью и бесцельностью существования, над собственной ничтожностью.

На третьем, заключительном этапе своей биографии Аполлон, испытав ужас самоубийства, ни о чем уже не думает и живет бессмысленно, как животное, в роли могильщика на кладбище. Кладбище зовут Благовещенским: Благая Весть пришла к Аполлону с кладбища. В этом слышится ирония, но содержится также некая мудрость — косвенный ответ на вопрос: зачем люди живут? Большинство людей, выясняется, живет, чтобы прожить или чтобы выжить, и не нужно придумывать ника-

ких особо возвышенных целей в жизни. Однако на сей раз это сознание бессмысленности и чувство своей животности, к которым пришел Аполлон, все потеряв, рождает в душе у него спокойствие, умиротворенность, блаженство. Аполлон исцелился на кладбище, на краю могилы (вскоре он "помер от разрыва сердца, работая над одной из могил"), впервые прикоснувшись к земле и узнав, что она теплая и сладко пахнет. Могильная земля символична как смысл жизни, заключенный в самой жизни, от которой Аполлон был так долго оторван, занятый мечтами о романтической любви и славе, а потом бесплодными раздумьями о бесцельности существования. Зоценко высоко ценил умение человека ощущать радость бытия от соприкосновения с самыми элементарными его сторонами (ср. очерк "Хорошо" из повести "Перед восходом солнца" — о восьмидесятилетнем старике, который тихо радуется, сидя на солнышке). Подобных позитивных способностей ему остро не доставало.

Между прочим, судьба Аполлона болезненно отзывалась в конце пути на судьбе самого Зоценко. Отлученный от писательства, он вынужден был зарабатывать на пропитание сапожным ремеслом. Перед ним вставал призрак нищего — один из устойчивых "архетипов", издавна вызывавший у Зоценко суеверный ужас. В особенности его преследовал образ интеллигента, ставшего нищим ("— Люди добрые... люди добрые..." — понищенски бормочет Аполлон в минуту отчаяния). В письме 1950 г. Зоценко писал: "... Под старость я вовсе растерял остатки честолюбия... Но характер изменился к лучшему — стал спокоен, "как пульс покойника"...".\* Перефразируя строку Маяковского, Зоценко (скорее всего невольно) воспроизводит состояние своего Аполлона, который обрел тишину и спокойствие на Благовещенском кладбище.

В повести "Аполлон и Тамара" несколько раз встает вопрос о виновности Аполлона. Тамара считает себя виновницей его несчастий. Но ее настойчивость в этом пункте и приносимые извинения позволяют догадаться, что в ней говорят не угрызения совести и не сожаления о прошлой любви, а приятное сознание, что из-за нее человек погибает: "в этом у ней была какая-то радость и, может быть, гордость". Сам же Аполлон

---

\* "Михаил Зоценко в воспоминаниях современников", стр. 246-247.

винит во всем себя одного, пародируя психологию так называемых "лишних людей". Автор смеется над этой "выдуманной" психологией и над психологическим реализмом вообще, так же как над никому не нужными в наши дни идеалами "чистого искусства", сторонником которых вначале выступал Аполлон, но делает это сравнительно мягко, беззлобно, на фоне тогдашней советской литературы с ее свирепой критикой слабостей и недостатков "ненужной" интеллигенции. Между тем не следует преувеличивать виновность Аполлона, подражая его самоубийственному анализу. Не вина Аполлона, а его беда, что в условиях нового общества, где нужны сапожники, стрелочники или, на худой конец, могильщики, — мечтательным музыкантам, рассуждающим о своей вине и бессмысленности жизни, нет места.

Фамилия Аполлона — Перепенчук — звучит вульгарно, затрудненно, с подчеркнутой фонетико-артикуляционной экспрессией, на манер комических гоголевских фамилий (типа Ивана Ивановича Перерепенко) и в сочетании с Аполлоном создает пародийный стилистический взрыв, останавливая наше внимание. С другой стороны, фамилия Перепенчук намекает, что вина героя неправомерно завышена. В старом русском просторечии бытовал глагол "перепенять", то есть завесить пеню, переборщить с укорами, упреками, обвинениями. Говоря иными словами, Аполлон Перепенчук это Аполлон, слишком дорого и тяжело поплатившийся, или "переобвиненный" Аполлон. Уже одной этой фамилией добрая часть вины с Перепенчука снимается.

Девичья фамилия Тамары — Омельченко — звучит куда более ласково, нежели грубая — Перепенчук, что, казалось бы, соответствует ее женскому обаянию. Омельченко происходит от слова — "омела". Это хищное, паразитическое растение, оплетающее деревья, — оборотная сторона Тамары с ее цепкой меркантильностью. С омелой связаны мифологические сюжеты, в том числе восходящие к богу Аполлону. Один из постоянных эпитетов греческого Аполлона — "омеловый", т.е. преданный омеле, подобно тому, как Аполлон Перепенчук предан Тамаре Омельченко. В греческой мифологии омела фигурирует как магическое растение любви, сопряженное в то же время с поэзией (т.е. с Аполлоном) как эротический символ. До сих пор кое-где в Европе сохранился обычай: влюбленные целуют-

ся под омелой. Все это отвечает зошенковской Тамаре, как притягивающей любовной силе, рядом с Аполлоном, представителем поэзии.

Мы не знаем, насколько Зошенко был знаком с этими мифами. Но, по всей вероятности, в повести "Аполлон и Тамара" он использовал (в связи с омелой) один скандинавский миф о Бальдуре, хорошо известный в России, — о юном и прекрасном солнечном боге, напоминающем Аполлона. Подобно Аполлону, Бальдур иногда отождествлялся с певцом, музыкантом, воплощением красоты. Согласно скандинавскому мифу, Бальдур — любимец богов — стал видеть дурные сны на тему своей ранней смерти. Тогда мать Бальдура взяла клятву со всех вещей и существ, с металлов, камней и растений, что они не повредят сыну. Клятвы она не взяла лишь с побега омелы, который ей показался слишком слабым и ничтожным, чтобы причинить зло. Обрадованные боги начали забавляться стрельбой по неуязвимому Бальдуру, от которого все стрелы отскакивали. Но злой бог Локи подсунул слепому брату Бальдура стрелу, сделанную из ветки омелы, и Бальдур был убит. Омела, не желая того, сделалась убийцей Бальдура просто потому, что не давала клятвы... Отзвуки всех этих аналогий слышаты в повести Зошенко, где Аполлон был сражен Тамарой Омельченко, носительницей любви и невольной виновницей его гибели.

Тут слышаты также "атавистические" страхи Зошенко перед женщиной, воплотившиеся в Аполлоне, то бегущем к Тамаре, то не менее стремительно убегающем от нее. Эти страхи в "Повести перед восходом солнца" переложены на язык прекрасных и неверных женщин, перепевающих Перепенчука (говорит женщина, "закрыв мне рот поцелуем"): "— Вы были сами виноваты". При всем том Зошенко не хочет никого винить. Вспоминается его ранее ("политическое") самоопределение: "Негу у меня ни к кому ненависти — вот моя 'точная идеология'..." ("О себе, об идеологии и еще кое о чем", 1922 г.).

Другая фамилия Тамары, урожденной Омельченко, подчеркнуто вынесена в конце повести в виде надгробной плиты (рядом с Аполлоном Перепенчуком), по недавнему мужу, иностранному коммерсанту, — Глоба. О коммерсанте ничего не известно, кроме его фамилии, которая тоже несет нарицательный смысл: Глоба — от латинского "globus" (или французского "globe", "global"), в значении земного шара или всей матери-

альной мощи земли. Символика прозрачна: Тамара, вместо поэтической мечты Аполлона, которого она когда-то любила, предпочла искать выгоду, достаток, выйдя замуж за коммерсанта с такой могучей фамилией, а, между тем, от него же и померла, не в силах разрешиться от бремени. В то время как Аполлон умер от разрыва сердца (в знак своей неразделенной любви), Тамара скончалась от родов в результате брака с глобальным коммерсантом...

Деталь: ее фамилия по мужу – Глоба – имеет явно украинский извод (подобно фамилиям Перепенчук, Омельченко, Зошенко), что никак уже не вяжется с "иностранном коммерсантом". Среди современников Зошенко был, например, известный поэт и драматург Андрей Глоба, украинского происхождения. Та несообразность, что "иностранного коммерсанта" зовут по-украински Глоба, говорит о заведомой условности этой фигуры и всего повествования. Сентиментальная повесть "Аполлон и Тамара" строится не как правдивый рассказ о каких-то людях, но в виде мифологической притчи и литературной игры в невеселую пародию. Это, впрочем, относится и к другим его повестям из того же цикла.

Мания преследования, ставшая "родовой психологией" и столь остро и лично запечатленная Зошенко, достигает кульминации в повести "Страшная ночь" (1925 г.). Последняя перекликается с повестью "Аполлон и Тамара" и служит как бы ее продолжением: вновь разверзается ужас бытия, тоска существования. Они подаются в очень широком, метафизическом масштабе. Ничего ужасного здесь не происходит. Но бытие как таковое открывает нам спрятанный под ее поверхностью, предвечный ужас.

В отличие от Аполлона Перепенчука и Забежкина герой "Страшной ночи" Котофеев лишен какой-либо ущербности или мечтательности. Он вполне благополучен, нормален, доволен судьбой\*. Это стандартный человек, занимающий ничтожное

---

\* Характер и биография персонажа у Зошенко сдвигаются в сторону утрированного схематизма, доходящего до карикатуры. В этом проскальзывает пародия на реализм XIX века и на литературу вообще с их претензиями изображать психологию, создавать стройное, сюжетно-мотивированное жизнеописание героя, рисовать пейзаж, портрет. А вместе с тем такой схематизм способствует постановке и разыгрыванию всевозможных "мифологем".

место в мире, что подчеркивается его профессией: он играет в оркестре на металлическом треугольнике. Отнимите у Котофеева анекдотический треугольник, и все его бытие разлетится прахом. Потому он и выбран автором в качестве пробного камня для рассмотрения философской идеи, лежащей в основе повести: идеи непрочности бытия. Уже сама стандартная биография Котофеева, где все очень просто, однообразно и скучно, содержит зерно непрочности. Оно сопряжено с понятием случайности: случайный выбор профессии, случайная женитьба на своей квартирной хозяйке. Вестниками катастрофы становятся два случайных (как бы встречных) персонажа: нищий помещик и бывший учитель чистописания. Оба они, можно заметить, жертвы великих социально-политических потрясений и вместе с тем символы всеобщей непрочности жизни. Как говорит бывший учитель (и это становится идеей фикс Котофеева): "... Все в нашей жизни меняется. Сегодня, скажем, отменили чистописание, завтра рисование, а там, глядишь, и до вас достучаются".

Дело не просто в боязни Котофеева потерять работу, а в фатальной превратности жизни, которая в любой момент может развалиться и с которой человек связан лишь какой-то малостью вроде треугольника. Этот треугольник жалок и смешон, но за ним выстраивается внушительный ряд исторических крушений. Мы видим, в каком направлении развивается угроза: в сущности, речь идет о поэтапной ликвидации культуры и искусства. Возможно, Зоценко тогда об этом не думал. Но местами слова Котофеева приобретают расширительное значение (и это уже мысли самого Зоценко): "Если игру скинуть с жизни, как же жить тогда?" Имеется в виду не только игра на музыкальном треугольнике, но художественная игра в целом, составляющая основу искусства и заключающая для Зоценко смысл существования. Или, как он писал в повести "Перед восходом солнца" по поводу своей депрессии, перебивавшей творчество: "Перестала играть музыка, под которую плясала моя жизнь, моя работа". Символом этой внутренней музыки, одухотворяющей жизнь, и становится в данном случае злосчастный треугольник.

В состоянии ночного (временного) помешательства Котофеев бросается к прохожим со словами: "Милости прошу..." — подобно Аполлону, твердившему: "Люди добрые..." Обе фор-

мулы напоминают просьбу нищего, протянувшего руку за подаванием, и восходят к этому первообразу страха. Но они лишены конкретности. Котофеев просит не подаяния, а какой-то высшей милости у судьбы или же от людей понимания и участия к своей губительной ситуации. Гибнет же он оттого, что в его мозгу распалось бытие и потеряна связь с миром, осуществлявшаяся через его треугольник. Все его движения в это время произвольны, и сам он потом будет удивляться на свой поступок, который никак не согласуется с его мирным и спокойным характером. Вместе с навязчивой идеей непрочности вступает в ход подсознание. Герой уже ни о чем не думает и совершает шаги рефлекторно, механически: куда-то идет, садится, встает, бежит, опять садится и опять куда-то идет (глаголов моторного порядка в этом куске текста собрано великое множество). Тело действует и реагирует помимо рассудка, повинувшись ужасу своего пребывания в пустоте. Тем не менее, в этом беспорядочном кружении по ночному городу наблюдается известная закономерность. Действие вращается вокруг церкви, и герой то входит в церковную ограду, то из нее выходит. Короче говоря, неведомая сила тянет его к церковному храму, предваряя кульминационный прыжок на колокольню.

У нас нет оснований думать, что герой, будучи религиозным, ищет укрытия в церкви. Зоценко тоже, насколько известно, не был религиозен. Есть лишь один намек в пародийном размышлении автора на тему изменчивости жизни: "...Какой может быть строгий закон, когда все меняется на наших глазах, все колеблется, начиная от самых величайших вещей — от бога и любви — до мизернейших человеческих измышлений". Можно предположить, что, крутясь вокруг церкви, а затем вбегая в нее, Котофеев инстинктивно стремится к месту, где когда-то обитал Бог и внушал понятие о твердости миропорядка, о законе и о милости, которую он ищет напрасно, обращаясь к людям. Люди, дико улюлюкая, преследуют его и только потому, что он от них бежит (если бежит, — значит, надо ловить). Охоту ведет толпа, уподобляясь стае зверей и руководимая выкриком: "Братцы, неужели же человека выпускать?" Знал ли Зоценко, что рассказывает здесь о себе, о писателе, непохожем на всех, на которого, спустя двадцать лет, тоже пойдет облава всем коллективом? Думаю, что не знал, но это было прозрением.

Взбежав на колокольню, Котофеев ударяет в набат. Он сам не понимает, зачем он это делает (работает подсознание), но старается, сказано, "разбудить весь город, всех людей". Это универсальный сигнал о грозящей ему персонально и каждому отдельному человеку опасности. Вместе с тем набат ассоциируется с мелодичным и меланхолическим позвякиванием треугольника, в который в обычные дни ударяет наш музыкант. Тяжелый медный язык колокола, которым бьет и бьет Котофеев, это гиперболизированный треугольник, на котором держится последняя связь с людьми. И здесь же представлен, по сути, широчайший диапазон стилистики и смысловых слагаемых Зоценко — от нежного и грустного треугольника (т.е. его юмора) до кричащего набата (его громкой трагической, хотя далеко не всем внятной, интонации), от низменного быта и пародии до высокого мифотворчества.

Повесть "Страшная ночь" (аналогия — "Страшная месь" Гоголя, построенная на фантастике) кончается, в общем-то, хорошо. Котофеева штрафуют за учиненный скандал, и он возвращается к своему треугольнику, к привычной должности в оркестре, так что все его безумные фантазии оказались ложными. Пережитая "страшная ночь" для Котофеева не роковой итог, а лишь незначительный и случайный эпизод в его жизни. "... Все перемелется — мука будет", — саркастически замечает автор в финале. Иными словами, с течением времени все сотрется в человеческой памяти, как в сознании Котофеева стерлись его биография, революция, музыка, наподобие его же ноги, стертой "еще при царском режиме", — "все это стерлось, все слилось в одну сплошную, ровную линию". Но не в сознании автора, для которого "страшная ночь" не проходной эпизод, а горький и мучительный вывод, к которому он пришел, размышляя над непрочностью жизни.

В авторском вступлении к повести эта непрочность пародийно сопереживается с геологическим переворотом и новым ледниковым периодом. Аллюзии на революцию явственно переплетаются с реминисценциями по известному рассказу Евг. Замятина "Пещера" (1920 г.) — о гибели русской культуры и русской интеллигенции. Оттуда, из "Пещеры", пришел и мамонт у Зоценко (у Замятина — "огромная, ровная поступь какого-то мамонтейшего мамонта"): "Ты вот, скажем, рукопись написал, с одной орфографией вконец намучился, не говоря уже

про стиль, а, скажем, через пятьсот лет мамонт какой-нибудь наступит ножищей на твою рукопись, ковырнет ее клыком и отбросит, как несъедобную дрянь”.

Ждать пришлось не так долго. Писатели-мифотворцы, случается, сами того не ведая, предрекают свою судьбу. В этом смысле сигналы и вести, образуя литературную ткань произведения, поступают к ним не только из архаического прошлого, но также из будущего. Все исполнится, все подтвердится. И охота на человека, и ночные кошмары о непрочности бытия, и мамонт, и тихое кладбище, и удар в живот...



*Éditions*

**ATHENEUM**

10 bis, rue Duhesme 75018 Paris  
Tél. : 42.62.14.21

**МИНУВШЕЕ.** Исторический альманах. Вып.6. 450 стр.

Публикации материалов по русской истории XIX-XX вв.:

Воспоминания М.Н. Жемчужниковой о Московском антропософском об-ве; А.А. Ванеева — о последних годах жизни Л.П. Карсавина и Н.Н. Пунина.

*Из наследия отечественной философии:* неизданные работы В.В. Розанова, М.И. Кагана, А.А. Мейера, Н.О. Лосского; письма М.О. Гершензона к Л.Шестову; исследование о взаимоотношениях П.А. Флоренского и М.А. Волошина и мемуарный фрагмент о Флоренском из рукописи воспоминаний о МДА.

*К истории антропософии в России:* неизданные дневники и письма А.Белого.

*Рецензии, дополнения:* исследование Л.Черняка о западном восприятии советской философии; неизданное письмо В.Ф.Ходасевича и др. материалы.

В мягкой обложке — 150 фр.фр.  
В твердом переплете — 195 фр.фр.

Самуил Лурье

## ПРАВДА ОТЧАЯНИЯ

Не пройдет и десяти лет, как мы будем читать в нашей прессе литературоведческие и критические статьи с разборами Бродского, и я даже ясно вижу, как они будут написаны. Там будет говориться, что вот, дескать, был такой очень хороший человек, на долю которого выпала несправедливость и разнообразные несчастья, и он эти несчастья отразил в своих стихах, но, несмотря ни на что, талант и любовь к родине сделали его значительным поэтом. Примерно это нам будут рассказывать прогрессивные литературоведы и критики, а черносотенные будут, наоборот, кричать: нет, нет, нет! Во-первых, какой же он русский поэт с такой фамилией? А во-вторых, не любил, не любил, не любил родину... На стороне одних будет пошлая правда, на стороне других — пошлая неправда. Всю жизнь мы страдаем оттого, что вообще не знаем, как говорить о людях, сочиняющих тексты без утилитарного назначения: не выработан словарь, не выработан способ разбора, нет соответствующей науки, хотя есть университеты, факультеты и т.д. Нет науки, которая научила бы нас говорить о стихах. Приходится это постигать самоучкой.

Я буду говорить о том воображаемом мною поэте Иосифе Бродском, со стихами которого я живу, который лично мне помогает что-то понять из моей собственной жизни. Думаю, что самое пошлое представление современного литературного про-

---

Выступление на вечере поэзии Иосифа Бродского. Ленинград, 6 мая 1988 г. (Магнитофонная запись. Публикуется без ведома автора.)

цесса состоит в том, что вот, дескать, поэт рождается с талантом, а потом с ним случаются разные происшествия, а он как бы время от времени обращается к этому моменту, вынимает его из кармана, как музыкальный инструмент, и начинает то или иное событие воспевать. Если оно печальное, он плачет. Если оно веселое, он ликует. Если у человека была трудная жизнь — он трагический поэт, если легкая (хотя мы как будто не знаем поэтов с легкой жизнью) — то, в общем, так или иначе возникает ощущение счастья. Думаю, что все обстоит наоборот: не биография управляет поэзией, а поэзия управляет биографией, превращает ее в судьбу. И придает ей, биографии, ставшей судьбой, черты художественного произведения. От этого часто бывает, что поэт предсказывает свою судьбу, чаще всего ее финал. И связан механизм этого управления, видимо, с тем, что не просто человек рождается с дарованием, а дарование формируется одновременно с сюжетом, который призван его оформить и выразить. Человек с дарованием рождается для того, чтобы выразить свой сюжет, и кто сумеет его найти и выразить во всей полноте, тому и удастся стать великим поэтом. Для того, чтобы его найти, поэту (как в прежнее время и философу) нужно его оправдать своей жизнью, выбирая из того, что с ним случается, то, что с этим сюжетом связано. То есть (чтобы показать это на хрестоматийном примере) я думаю, что Пушкин то и дело попадал (и сознательно попадал) в те ситуации, одна из которых в конце концов привела его к гибели. Лермонтов долго становился из Грушницкого Печориным и потом искал Мартынова, чтобы умереть, как собственный герой. Петрарке, наверно, необходимо было, чтобы Лаура была замужней женщиной, и нужно было дожидаться ее смерти, чтобы оплакать ее.

Человек ищет свой сюжет. Найти этот сюжет в творчестве поэта или философа и есть найти к нему ключ и, значит, в какой-то степени его разгадать. И вот мне кажется, что в поэзии Бродского такой сюжет есть. Он просматривается.

Уже к 1961-му году относится такое стихотворение. Оно не лучшее — просто наиболее точно выражает тот сюжет, о котором я буду говорить:

Воротишься на родину. Ну что ж.  
Гляди вокруг, кому еще ты нужен,

кому теперь в друзья ты попадешь?  
Воротишься, купи себе на ужин

какого-нибудь сладкого вина,  
смотри в окно и думай понемногу,  
во всем твоя, одна твоя вина,  
и хорошо. Спасибо. Слава Богу.

Мы видим здесь не отчаянное одиночество, а одиночество отчаяния. И мы видим здесь тягу к этому отчаянию, как бы упоение им. Во всем этом стихотворении, как и во многих других стихах Бродского, уже 60-х годов, даже ранних, есть эта тяга к отчаянию, в конечном итоге — тяга к свободе. К свободе быть ни с кем, никому не принадлежать, ничего не иметь, никого не любить, никем не быть любимым.

Если вы возьмете одно из последних стихотворений, вы обнаруживаете ту же ситуацию, тот же сюжет, и я дальше покажу, что это постоянно.

У всего есть предел: в том числе, у печали.  
Взгляд застревает в окне, точно лист — в ограде.  
Можно налить воды. Позвенеть ключами.  
Одиночество есть человек в квадрате.  
Так дромадер нюхает, морщась, рельсы.  
Пустота раздвигается, как портьера.  
Да и что вообще есть пространство, если  
не отсутствие в каждой точке тела?  
Оттого-то Урания старше Клио.  
Днем, и при свете слепых коптилок,  
видишь: она ничего не скрыла  
и, глядя на глобус, глядишь в затылок.  
Вон они, те леса, где полно черники,  
реки, где ловят рукой белугу,  
либо — город, в чьей телефонной книге  
ты уже не числишься. Дальше, к югу,  
то есть, к юго-востоку, коричневеют горы,  
бродят в осоке лошади-пржевали;  
лица желтеют. А дальше — плывут линкоры,  
и простор голубеет, как белье с кружевами.  
(“К Урании”)

В сущности, при том, что это стихотворение гораздо более искусное, и там после слов "глядишь в затылок" потребовалась бы ремарка, что появляется призрак чужой раздевающейся женщины, и этот призрак оконтурен словами: "глядя на глобус, глядишь в затылок", и эти линкоры, которые плывут, и дальше — белье с кружевами. При всей искусности, даже виртуозности позднего стихотворения, на самом деле в нем выражен тот же порыв к свободе — к свободе, понимаемой как совершенное одиночество и отрешенность от привязанностей и иллюзий, что и в стихах раннего времени.

Мне кажется, что сюжетом каждого стихотворения Бродского является повод к отчаянию. Это отчаяние приводит к свободе, и переход этот, выход из отчаяния к свободе — есть событие, совершающееся в каждом стихотворении Бродского. Это можно проверить решительно на любом тексте. Он сам описывает это в шутивном позднем стихотворении "Пьяцца Маттеи". Он просто описывает механизм, как это происходит. Стихотворение начинается как шутка, там стилизованно и, пожалуй, экзотично описывается какая-то любовь и последующая измена; сначала это выглядит цинично и фривольно, но затем возникает печаль утраты. И вот, дальше:

#### IV

Не смешивает пахарь с пашней  
плодов плачевных.  
Потери, точно скот домашний,  
блюдет кочевник.  
Чем был бы Рим иначе? гидом,  
толпой музея,  
автобусом, отелем, видом  
Терм, Колизея.

#### V

А так он — место грусти, выи  
склоненной в баре  
и двери, запертой на виа  
дельи Фунари.  
Сидишь, обдумывая строчку,  
и, пригорюнясь,  
глядишь в невидимую точку:  
почти что юность.

## VI

Как возвышает это дело!  
Как в миг печали  
все забываешь: юбку, тело,  
где, как кончали.  
Пусть ты последняя рванина,  
пыль под забором,  
на джентльмена, дворянина  
кладешь с прибором.

## VII

Нет, я вам доложу, утрата,  
завал, непруха  
из вас творят аристократа  
хотя бы духа.  
Забудем о дешевом графе!  
Заломим брови!  
Поддать мы в миг печали вправе  
хоть с принцем крови!

## X

Я, пасынок державы дикой  
с разбитой мордой,  
другой, не менее великой  
приемыш гордый, —  
я счастлив в этой колыбели  
Муз, Права, Граций,  
где Назо и Вергилий пели,  
вещал Гораций.

## XI

Попробуем же отстраниться,  
взять век в кавычки.  
Быть может, и в мои страницы  
как в их таблички,  
кириллицею не побрезгав  
и без ущерба  
для зренья, главная из Резвых  
взглянет — Эвтерпа.

## XII

Не в драчке, я считаю, счастье  
в чертоге царском,  
но в том, чтоб, обручив запястье  
с котлом швейцарским,  
остаток плоти терракоте  
подвергнуть, сини,  
исколотой Буонаротти  
и Боромини.

## XVI

Усталый раб — из той породы,  
что зрим все чаще —  
под занавес глотнул свободы.  
Она послаще  
любви, привязанности, веры  
(креста, овала)  
поскольку и до нашей эры  
существовала.

## XVII

Ей свойственно, к тому ж, упрямство.  
Покуда Время  
не поглупеет как Пространство  
(что вряд ли), семя  
свободы в злом чертополохе,  
в любом пейзаже  
даст из удушливой эпохи  
побег. И даже

## XVIII

сорвись все звезды с небосвода,  
исчезни местность,  
все ж не оставлена свобода,  
чья дочь — словесность.  
Она, пока есть в горле влага,  
не без приюта.  
Скрипи, перо. Черней, бумага.  
Лети, минута.

Так описывает Бродский возникновение своих стихов.

Это и есть тот психологический механизм: от абсолютного краха к свободе, к восторгу свободы, а дочь свободы — словесность. Здесь речь идет о свободе не только политической. Свобода, как и любовь, не может иметь уточняющих определений. Но и свобода нужна Бродскому не сама по себе, а как условие для осуществления истины; истина же (как Шеллинг сказал) есть соответствие реальности и наших представлений о ней. Истина может быть только в высказывании. Истинным может быть только высказывание. Стало быть, формула такова: от отчаяния к свободе и к истине высказывания. И поэтика Бродского вот с этой синхронизацией зрительного луча и голосового луча, как будто бы поэтика импровизации, как будто бы то, что является глазам, превращается в речь, подчинена этой же формуле.

Вот почему я думаю, что те люди — они реальны, живы, они существуют, их несколько десятков — которые реально сделали Бродского несчастным и лишили его всего, что было ему дорого, эти люди, вроде какой-нибудь там судьи Савельевой, были, не зная этого, агентами истории литературы. Подобно тому, как какая-нибудь Лесбия объяснила Катуллу, что женская верность иллюзорна; подобно тому, как афинские судьи объяснили Сократу, что миром правит большинство, а мышление большинства всегда глупость, большинство всегда на стороне глупости... Подобно этому все эти люди, которые способствовали тому, чтобы у Бродского ничего не осталось, на самом деле содействовали осуществлению его предназначения и его тайного желания. Он, можно так себе представить (если только на минуту сделать такое предположение, что с поэтом все-таки случается то, чего он втайне хочет), он на самом деле был как бы предназначен для того, чтобы поставить эксперимент на человеке: что останется человеку, наделенному даром прозрения и слова, если он лишится иллюзий и привязанностей. Если он лишится дружбы и любви. Если он уйдет из истории. И вот это его тайное желание осуществилось. И в последних, т.е. написанных за границей, книгах Бродского мы видим, как оно осуществляется и что с ним происходит.

Весь этот странный эксперимент похож на то, как если бы нам поставили на Луне телекамеру, оснащенную речью. И вот что, оказывается, происходит. Значит, он, такой человек, он обнаруживает, что да, скажем, измена и затем вечная разлу-

ка вроде бы уничтожают любовь, вроде бы уничтожают все, во что ты веришь. Но остается только реальность, а у реальности есть главная способность, главная возможность — причинять боль. Оказывается, чувство уходит, уходят люди, ни с кем никогда не увидишься, оказываешься в прошедшем времени, ничего в настоящем нет, но боль испытываешь все время. И еще оказывается, что когда нет людей, в отношениях с которыми осуществляется человек, то человек, его личность децентрализуется, перестает существовать. Человек превращается в зрение и речь. И еще оказывается, что когда не веришь в отношения между людьми, то уходишь из истории.

Из истории Бродский уходит замечательно. У него есть стихотворение про Тиберию, где это объяснено. Ему представляется, что история (он ее понимает энергетически) — это накопление взрывающейся биомассы. Вот она накапливается, накапливается и потом чудовищную клешню запускает в нашу жизнь, вытаскивая жертвы, как в стихотворении "Новый Жюль Верн", когда откуда-то из бездн воздвигается страшный осьминог, и вот — что перед ним цивилизация!

Точно таким же образом выглядит у Бродского история в "Двадцати сонетах к Марии Стюарт":

Равнина. Трубы. Входят двое. Лязг сражения. "Ты кто такой?" — "А сам ты?"  
"Я кто такой?" — "Да, ты." — "Мы протестанты."  
"А мы католики." — "Ах вот как!" Хряск!  
Потом везде валяются останки.  
Шум нескончаемых вороньих дряг.  
Потом — зима, узорчатые санки,  
примерка шали: "Где это — Дамаск?"  
"Там, где самец-павлин прекрасней самки."  
"Но даже там он не проходит в дамки"  
(за шашками — передохнув от ласк).  
Ночь в небольшом по-голливудски замке.

Опять равнина. Полночь. Входят двое.  
И все сливается в их волчьем вое.

Это накопление биомассы и ее последующее разрешение во взрыве есть для Бродского история. Вот что он говорит про

Тиберия. Это, надо сказать, стихи, которые многое поправляют в теперешних наших замечательных спорах вокруг разных там "Детей Арбата". Он говорит:

...Ах, Тиберий!

Какая разница, что там бубнят  
Светоний и Тацит, ища причины  
твоей жестокости! Причин на свете нет,  
есть только следствия. И люди жертвы следствий.  
Особенно, в тех подземельях, где  
все признаются — даром, что признанья  
под пыткой, как и исповеди в детстве,  
однообразны. Лучшая судьба —  
быть непричастным к истине. Понеже  
она не возвышает. Никого...

...Ах, Тиберий!

Кто мы такие, чтоб судить тебя?  
Ты был чудовищем, но равнодушным  
чудовищем. Но именно чудовищ —  
отнюдь не жертв — природа создает  
по своему подобию. Гораздо  
отраднее — уж если выбирать —  
быть уничтоженным исчадьем ада,  
чем неврастеником. В неполных тридцать,  
с лицом из камня — каменным лицом,  
рассчитанным на два тысячелетья,  
ты выглядишь естественной машиной  
уничтожения, а вовсе не  
рабом страстей, проводником идеи  
и прочая. И защищать тебя  
от вымысла — как защищать деревья  
от листьев с ихним комплексом бессвязно,  
но внятно ропщущего большинства.

...

Не может быть, что ты меня не слышишь!  
Я тоже опрометью бежал всего  
со мной случившегося и превратился в остров  
с развалинами, с цаплями. И я  
чеканил профиль свой посредством лампы.

Вручную. Что до сказанного мной,  
мной сказанное никому не нужно —  
и не впоследствии, но уже сейчас.  
Не есть ли это тоже ускоренье  
истории? успешная, увы,  
попытка следствия опередить причину?  
Плюс, тоже в полном вакууме — что  
не гарантирует большого всплеска.

Так выглядит история. И тогда что получается? Уйдя из истории, уйдя из отношений с людьми, лишившись иллюзий, надежд и привязанностей, человек превращается в зрение. Зрение, синхронизированное с речью. В нем есть, внутри него, прошедшее время, которое звучит, которое есть его душа: в нем есть такой нескончаемый монолог отчаяния, и он, этот монолог, пересекается с наплывом пространства, с потоком зрительных впечатлений. Телекамера. Человека нет. Это очень странно. Он теряется в пространствах. Репортаж. Соответствие изображения и звука. Путевой очерк, устроенный так, что каждая точка мелькающего пейзажа, каждая точка наплывающего пространства есть повод к отчаянию. И сквозь это пространство (сейчас мы увидим, насколько оно плотное, точно выписанное, ослепительно образно данное) — п р о с в е ч и в а е т время: либо будущее, либо прошедшее. Пространство оказывается мнимым.

“Северный Кенсингтон” — казалось бы, типичный путевой очерк:

Шорох “Ирландского Времени”, гонимого ветром по железнодорожным путям к брошенному депо, шелест мертвой полыни, опередившей осень, серый язык воды подле кирпичных десен. Как я люблю эти звуки — звуки бесцельной, но длящейся жизни, к которым уже давно ничего не прибавить, кроме шуршащих галькой собственных грузных шагов. И в небо запустишь гайкой. Только мышь понимает прелести пустыря — ржавого рельса, выдернутого штыря, проводов, не способных взять выше сиплого до-диеза, поражения времени перед лицом железа.

Ничего не исправить, не использовать впредь.  
Можно только залить асфальтом или стереть  
взрывом с лица земли, свыкшегося с гримасой  
бетонного стадиона с орущей массой.

И появится мышь. Медленно, не спеша,  
выйдет на середину поля, мелкая, как душа  
по отношению к плоти, и, приподняв свою  
обезумевшую мордочку, скажет "не узнаю".

Здесь сквозь пространство просвечивает будущее время.  
Вот еще пример, — совсем другого, очень радостного. В "Эклог  
е 5-ой (летней)":

сердцевина репейника напоминает мину,  
взорвавшуюся как бы наполовину.  
Дягиль тянется точно рука к графину.  
И паук, как рыбачка, латает крепкой  
ниткой свой невод, распятый терпкой  
полынью и золотой сурепкой.

Жизнь — сумма мелких движений. Сумрак  
в ножнах осоки, трепет пастушьих сумок,  
меняющийся каждый миг рисунок  
конского щавеля, дрожь люцерны,  
чабреца, тимофеевки — драгоценны  
для понимания законов сцены,

не имеющей центра. И злак, и плевел  
в полдень отбрасывают на север  
общую тень, ибо их посеял  
тот же ветряный сеятель, кривотолк:  
о котором и по сей день не смолкли.  
Вслушайся, как шуршат метелки

петушка-или-курочки! что лепечет  
ромашки отрывистый чет и нечет!  
как мать-и-мачеха им перечит,  
как болтает, точно на грани бреда,  
примятая лебедью Леда  
нежной мяты. Лужайки лета,

освещенные солнцем! бездомный мотыль,  
пирамиды крапивы, жара и одурь.  
Пагоды папоротника.

Вот что являет собой поэзия Бродского: она есть на самом деле как бы поглощение пространства зрением. Это тем более важно, что пространство видится Бродскому такой одновременно бесконечно тонкой и бесконечно глубокой пленкой, натянутой на реальность, а на самом деле сквозь материю просвечивает ничто и эта материя есть только маска несуществования.

В стихотворении "Бабочка" (1972) весь смысл состоит в том, чтобы до такой степени подробно рассмотреть мельчайшую точку пространства, чтобы она распалась. "Муха" действительно распадается на тысячи снежинок. А Бабочка, с ее бесконечно подробно, нежно, изящно описанным крылом, вдруг оказывается просто ничем, дематериализуется на наших глазах.

Ты лучше, чем ничто.  
Верней: ты ближе  
и зримее. Внутри же  
На все на сто.  
И родственна ему.  
В своем полете  
Оно достигло плоти  
И потому  
Ты в сутолоке дневной  
достойна взгляда  
как легкая преграда  
меж ним и мной.

Вот такая это поэзия. Поэтому я совершенно не согласен с Александром Кушнером, когда он пишет в статье, сопровождающей стихи Бродского в журнале "Нева", что Бродский — поэт романтического сознания. Это очень странный романтизм, если так: романтизм без иллюзий, без героя, без "я", потому что, повторяю, "я" тут нет, оно прячется в перспективу. Даже он не существует, он является только точкой... вот ч а с т ь р е ч и, точка зрения, он голосовой луч, его нет, он никого не любит, у него никого нет, он ни в чем не участвует. Он находит-

ся наедине с бесконечным пространством, которое заслонено от него тем, что видит взгляд. Такова метафизическая ситуация поэта в мире. Это не романтизм, а что-то совсем другое. Страдальческий цинизм... Такой вот странный эксперимент!

Было бы очень интересно проследить, как не существует для Бродского время. Как охотно он говорит о пространстве. Как взаимодействуют в нем зрение и память. Он сам об этом говорит. Вся его литература — это игра с пространством. Его опыт ему удался. Он нашел свою истину и выразил ее. В стихах Бродского мы все время встречаемся с ощущением реальности. И это то, чем они больше всего поражают. Он находит свою истину, но оказывается, что этот опыт имеет форму порочного круга. Да, предположим, для того (так говорили и некоторые древние философы), чтобы проникнуть в истину, нужно все потерять. Нужно всего лишиться, ничего не иметь, никого не любить. Но оказывается, что истина, найденная при этом, — это истина человека, который все потерял, который ничего не имеет, который никого не любит, у которого нет ничего. Это истина, в которую не войдешь, с которой себя не отождествишь, которой нельзя поделиться; Бродский — поэт, которого очень трудно любить, потому что в лирику мы привыкли входить как в воду, расплескивая собой авторскую личность, становясь на ее место, принимая на себя чужую любовь, чужую радость, чужую горе. Так, чтобы наша любовь и наше горе, приняв маску чужого, приобрели вместе с тем эстетические черты. А здесь это невозможно. Этот опыт неповторим. И, наверное, не всякий человек может... Мы приучены традиционной поэзией, что, хлебнув горького, непременно надо запить его сладким. А это — все время очень горькая поэзия. Она все время оставляет нас наедине с такой реальностью, которая нам совершенно не по вкусу. И вот как она выглядит... Вот это внутреннее пространство, пространство памяти:

Аллея со статуями  
затвердевшей грязи,  
похожими  
на срубленные деревья.  
Многих я знал в лицо. Других  
вижу впервые.  
Видимо, это боги

местных рек и лесов,  
хранители тишины.  
Либо сгустки чужих,  
мне не внятных воспоминаний.  
Что до женских фигур — нимф и т.п. —  
они выглядят незаконченными,  
точно мысли.  
Каждая пытается сохранить,  
даже здесь, в наступившем будущем,  
статус гостыи.  
Суслик не выскочит и не перебежит тропы.  
Не слышно ни птицы, ни — тем более —  
автомобиля.  
Будущее суть панацея от  
того, чему свойственно повторяться.  
И по небу разбросаны,  
как вещи холостяка,  
тучи, вывернутые наизнанку,  
и разглаженные.  
Пахнет хвоей, этой колкой субстанцией  
малознакомых мест.  
Изваяния высятся в темноте, чернея,  
от соседства друг с дружкой, от безразличия  
к ним окружающего ландшафта.  
Заговори любое из них, и ты  
скорее вздохнул бы, чем содрогнулся,  
услышав знакомые голоса,  
услышав что-нибудь вроде: "ребенок не от тебя",  
или: "я показал на него, но от страха,  
а не из ревности".  
Мелкие,  
двадцатилетней давности тайны слепых сердец,  
одержимых нелепым стремлением к власти  
над себе подобными и  
не замечавшими тавтологии.  
Лучшие из них были и жертвами, и  
палачами.  
Хорошо, что чужие воспоминания  
вмешиваются в твои.  
Хорошо, что

некоторые из этих фигур тебе  
кажутся посторонними.  
Их присутствие намекает  
на другие события  
и другой вариант судьбы,  
возможно, не лучший,  
но безусловно,  
тобою упущенный.  
Это освобождает не столько воображение,  
сколько память.  
И надолго, если не навсегда.  
Узнать,  
что тебя обманули,  
что совершенно  
о тебе позабыли,  
и наоборот, что тебя до сих пор  
ненавидят,  
крайне неприятно.  
Но воображать себя центром  
даже невзрачного мироздания  
непристойно и невыносимо.  
Редкий,  
возможно, единственный посетитель  
этих мест, я думаю, я имею право  
описывать без прикрас  
увиденное.  
Вот она, наша маленькая Валгалла,  
наше сильно запущенное имение  
во времени,  
с горсткой душ,  
с угожьями, где отточенному серпу,  
пожалуй, особенно не разгуляться.  
Где снежинки медленно кружатся,  
как пример поведения в вакууме.

Вы знаете, на что это похоже?.. Говорят, если человек отравился цианистым калием, то он кажется нам мертвым, но еще около получаса глаза видят, уши слышат, сердце бьется, мозг работает. Поэзия Бродского есть в некотором смысле поэзия человека, покончившего с собой. Просто вот покончивше-

го с собой в прямом смысле этого слова. Перед нами человек, который дожидается исчезновения. Это выглядит вот так:

Точка всегда обозримей в конце прямой.  
Веко хватает пространство, как воздух — жабра.  
Изо рта, сказавшего все, кроме “Боже мой”,  
вырывается с шумом абракадабра.  
Вычитанье, начавшееся с юлы  
и т.п., подбирается к внешним данным;  
паутиной окованные углы  
придают сходство комнате с чемоданом.  
Дальше ехать некуда. Дальше не  
отличить златоуста от златоротца.  
И будильник так тикает в тишине,  
точно дом через десять минут взорвется.

Вот это ожидание, этот комфорт отчаяния — такова тональность стихов Бродского. Он живет отчаянием, как, возможно, какие-то существа могли бы дышать фтором или углекислым газом. Он живет в этой отравленной атмосфере.

Хочется сказать два слова о его необычайной, ослепительной и очень странно построенной образности. Нет ни одного предмета, который что-нибудь значил бы сам по себе; все они значат что-нибудь только по отношению друг к другу. И вся образность порождается контекстом. От этого в стихах Бродского наблюдается такой странный эффект, который бывает только у очень больших поэтов, когда в словах просвечивает какой-то совсем иной, новый смысл. Например, вы читаете строчку:

“Скрипи, перо, переводы бумагу” —

и вдруг слышите то, чего вы бы никогда не услышали в словосочетании “переводы бумагу”: что перо скрипит и бумагу переводит, может быть, даже художественным способом. То есть, это художественный перевод. Или, например, когда говорится о том, что все на свете кончается, возникает строчка: “Повисший над пресным каналом мост/удерживает расплывчатый противоположный берег / от попытки совсем отделиться и выйти в море”.

Или о какой-то попойке на двадцатом этаже говорится:

...три десятилетия спустя  
мы пьем вино при крупных летних звездах  
в квартире на двадцатом этаже  
на уровне, достигнутом уже  
взлетевшими здесь некогда на воздух.

Или когда речь идет о том, что все рано или поздно кончается, и в стихотворении возникает грозная ситуация, появляется чучело перепелки. Оно выглядит так:

И на камиле маячит чучело перепелки,  
понадевавшейся на бесконечность лета.

И перепелка мгновенно оживает, и чучело вспархивает с камина.

Оказывается, что все эти средства — эта бесконечная искусственность, умение создать ощущение того, что стихи творятся сейчас, на наших глазах, параллельно движению взгляда, вся эта утонченная духовность и огромная энергия тратятся на то, чтобы доказать нам, что ни нас, ни автора этих стихов на самом деле не существует. И вот я думаю: на что это больше всего похоже?

Мне кажется, что более всего это похоже на сознание нашего современника, именно советского человека. Я думаю, что это в некотором роде вовсе не романтизм, а реализм, и, притом, я бы сказал, социалистический.

Потому что это мы живем в таком мире, где отношения иллюзорны, где личность ничего не значит и человек, вообще говоря, не является телом, занимающим место в пространстве. Это мы живем без надежд, это мы выключены из истории. Вот как это ни странно, получается так, что ведь обычный советский поэт противопоставляет себя действительности, строя какой-нибудь характер: характер непохожий, благородный, или какую-нибудь жизненную позицию — от христианства до комсомольского оптимизма, которые противопоставлены реальности, и от этого реальность кажется твердой, прочной. Вот в нее бьешь кулаком, а кулаку больно. Ударишь мечом — меч отскакивает: она выглядит стеной. А Бродский поступает иначе.

Это стихи, в которых, повторяю, нет автопортрета, нет отношений с самим собой, здесь, наоборот, децентрализация сознания, и от этого действительность развеществляется.

Возможно, что в дурно устроенных обществах, где связи отсутствуют и плохо держат человека, — в этих обществах человек скорее выпадает в космическое пространство, расступаясь перед ним; во тьму, где он оказывается наедине с мирозданием. И, может быть, поэтому в эпохи реакции чаще всего возникает трагическая лирика и развивается гносеология. Только выключенный из истории, то есть избавившийся от этой *главной* иллюзии человек оказывается наедине с мирозданием, то есть в той ситуации, где на самом деле человек меньше ~~самого~~ себя и вообще является в какой-то мере мнимой величиной, каким-нибудь квадратным корнем из минус единицы. И он несчастен и ничтожен. Одинок и совершенно свободен. И в этом смысле такое вот пространство, освобожденное от социальности, и есть космическое пространство, и в нем живет Бродский. Его роль в будущем зависит от того, как все повернется.

Если будущего не будет (во что я больше всего верю), то поэзия Бродского останется последним пророчеством, последним криком, последним описанием той ситуации, в которой мы жили, которую мы сами не осознаем, — потому что нужно оказаться в этой чрезвычайной географической человеческой ситуации, чтобы осознать ее до конца.

Если будущее будет, то Бродский, наверное, останется в истории литературы — наряду с такими поэтами, как Джакомо Леопарди, Федор Сологуб — одним из выразителей и описателей участи человека: ничтожной, бессмысленной, но глубоко значительной и очень грустной.

Но еще я должен сказать: я построил философему, пытаюсь вывести одно из другого. Но поэт потому и поэт, а не философ, что способен противоречить самому себе, ошибаться, и, может быть, ошибки его и непоследовательности являются самым интересным из всего, что он делает. Вот есть в этой последней книге, "Урания", стихотворение "Сидя в тени", где все почти напрямую выражено в духе политико-философского пессимизма. Он говорит как раз о том, во что и я, например, глубоко верю, — о том, что будущего никакого нет. Он довольно ясно это объясняет. Я уже говорил, что история для него — это накопление биомассы. И вот здесь ситуация, из которой другой

поэт сделал бы, наверное, идиллию: человек сидит на скамейке жарким летним полднем, глядит на играющих детей, ну и, конечно, приходит в отчаяние от того, что их так много, от того, что они так некрасивы, от того, что их будет все больше и больше, они затопят весь мир, потому что это, так сказать, накопление бессмысленной массы человеческих туш, бессмысленное накопление материи приведет к тому, что человечество просто утонет в собственном мясе. И здесь говорится буквально так:

## VII

После нас — не потоп,  
где довольно весла,  
но наваждение толп,  
множественного числа.  
Пусть торжество икры  
над рыбой еще не грех,  
но ангелы — не комары,  
и их не хватит на всех.

## VIII

Ветреный летний день.  
Запахи нечистот  
затмевают сирень.  
Брюзжа, я брюзжу как тот,  
кому застать повезло  
уходящий во тьму  
мир, где делая зло,  
мы еще знали — кому.

## IX

Ветреный летний день.  
Сад. Отдаленный рев  
полицейских сирен  
как грядущее слов.  
Птицы клюют из урн  
мусор взамен пшена.  
Голова, как Сатурн,  
болью окружена.

## XII

Тысячелетье и век  
сами идут к концу,  
чтоб никто не прибег  
к бомбе или к свинцу.  
Дело столь многих рук  
гибнет не от меча,  
но от дешевых брюк,  
скинутых сгоряча.

## XIII

Будущее черно,  
но от людей, а не  
оттого, что оно  
черным кажется мне.  
Как бы беря взаймы,  
дети уже сейчас  
видят не то, что мы;  
безусловно не нас.

## XVII

Эта песнь без конца  
есть результат родства,  
серенада отца,  
ария меньшинства,  
петая сумме тел,  
в просторечьи — толпе,  
наводнившей партер  
под занавес и т.п.

## XIX

Впитывая свой сок,  
пачкая куст, тетрадь,  
множась, точно песок,  
в который легко играть,

дети смотрят в ту даль,  
куда, точно грош в горсти,  
зеркало, что Стендаль  
брал с собой, не внести.

## XX

Наши развиг черты,  
ухватки и голоса  
(знак большой нищеты  
природы на чудеса),  
выпятив челюсть, зоб,  
дети их исказят  
собственной злостью — чтоб  
не отступить назад.

## XXI

Так двигаются вперед,  
за горизонт, за грань.  
Так, продолжая род,  
предает себя ткань.  
Так, подмешавши дробь  
в ноль, в лейкоциты — грязь,  
предает себя кровь,  
свертыванья страшась.

## XXII

В этом и есть, видать,  
роль материи во  
времени — передать  
*все* во власть *ничего*,  
чтоб заселить верто-  
град голубой мечты,  
разменявши *ничто*  
на собственные черты...

Вот стихотворение, где уже, кажется, совсем не остается  
никакой надежды, и это как будто бы крайний итог и выход.

Но Бродский с его, надо сказать, необыкновенным вкусом знает, что так стихотворение кончать нельзя. Хотя он никогда не пишет стихотворение для концовки, но здесь она есть, и она поразительна. Стихотворение, где говорится о том, что прошла эпоха единственности чувств, единственности выбора, и все гибнет во множественном числе, и кончен век, и не существует смысла, вдруг оказывается —

### XXIII

Так в пустыне шатру  
слышится тамбурин.  
Так впопыхах икру  
мечут в ультрамарин.  
Так марают листы  
запятая, словцо.  
Так говорят "лишь ты",  
заглядывая в лицо.

Оказывается, что стихотворение, отрицающее выбор, отрицающее иллюзию, отрицающее в конце концов любовь и смысл, и будущее, заканчивается строчкой, в которой слышна если не надежда, то тоска по этой единственности выбора, по этому смыслу. Хотя стихи Бродского и передают именно ту реальность, в которой мы живем, но его ошибки вот такого рода, его уступки любви, в которую он как бы не верит, которая причиняет ему боль, в не меньшей мере делают его большим поэтом, чем правда отчаяния, которую он так полно выразил.

(Материал подготовил Е. Г. Эткинд)



Игорь Ефимов

## ВЕРА И НЕВЕРИЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО

### I

”Какая умница Кант! — в очередной раз восклицает Лев Толстой летом 1908 года. — Он меня всегда очень трогает. То, что я говорю, это все то же, что говорит Кант... Популярное изложение его философии было бы великим делом. Интересно узнать, есть ли попытки такие в Европе”<sup>1</sup>.

Попытки такие были, и об одной из них Толстой не мог не знать, ибо сам он и был ее автором за сорок лет до описанного разговора. Второй эпилог к ”Войне и миру” представляет из себя не что иное, как творческий пересказ основных положений Канта и Шопенгауэра, труды которых произвели на Толстого огромное впечатление.

Если оставаться в рамках философии Канта и Шопенгауэра, всю деятельность нашего разума можно схематично разбить на четыре основных раздела, в каждом из которых господствует свой принцип суждений.

”Это верно, — говорит наш ум. — А это нет”.

”Это красиво, — говорят наши чувства. — А это безобразно”.

”Это доброе дело, — говорит сердце. — А это злое”.

”Это высоко, — говорит душа. — А это низко”.

Таковы четыре голоса, постоянно звучащие в нас, и соответственно этим четырем голосам наша духовная жизнь может быть очерчена четырьмя сферами деятельности: умственно-рациональной, эстетической, этической, религиозной.

Иммануил Кант был первым философом, призвавшим наш разум уважать границы между этими четырьмя сферами. Толстой до конца жизни оставался горячим поклонником Канта и проповедником его идей в России. Он прославлял разум и его законы и отвергал все, что представлялось ему неразумным. Но удалось ли ему хоть на короткий период подчинить свой мятущийся ум дисциплине мышления, разработанной Кантом? Сказал ли он ему хоть на одной границе: "Дальше тебе ходу нет — умолкни"?

Нет четких границ между четырьмя сферами, и нет двух людей, которые были бы полностью согласны в своих суждениях о красивом и безобразном, злом и добром, высоком и низком, даже о верном и неверном. В личной жизни это оборачивается взаимонепониманием и ссорами, в жизни социально-исторической выливается во всевозможные смуты, бунты, расколы. Если же разнобой голосов начинается в душе одного человека, это может оказаться чревато тяжелым внутренним разладом, душевными муками, психологическим срывом, переломом судьбы.

Именно это, судя по всему, случилось со Львом Толстым в 1879 году. Нет никакого сомнения в том, что последние 30 лет его жизни были окрашены острой неудовлетворенностью собой, своим миром, своим прошлым и настоящим, своим окружением. Во всех своих писаниях этого периода он, по сути, повторяет на все лады одно и то же: "Не так живем, не так живем, не так живем". "Не так" — потому что не в любви и согласии, а в раздорах, насилиях, жестокостях, несправедливостях. Но чтобы покончить с раздором внешним, нужно сначала преодолеть раздор и разноголосье, живущие в душе человека.

И вот этой-то гигантской задаче Толстой и подчиняет всю свою литературную и проповедническую деятельность последних тридцати лет.

Нет, он и мысли не допускает, что разноголосье в нашей духовной и умственной деятельности является неизбежным следствием ее разделения на четыре разные ветви, четыре сферы, каждая из которых подчинена своим законам. Закон дол-

жен быть един, и все должно примириться под его благодетельным деспотизмом. Разделение же и раздоры — лишь следствие мелких людских страстей, обмана, глупости, самоуверенности, невежества.

И он не щадит эту глупость и ослепленность ни в ком и ни в чем.

Из умственно-рациональной сферы нашей души произрастает наука.

Из эстетической — искусство.

Этическая сфера служит основой для выработки социально-политического устройства.

Из религиозного начала в душе создаются верования, культы, церкви.

И на все это Толстой обрушивается с гневными и разоблачительными проповедями. Он начинает тотальную войну против человеческой культуры на всех четырех фронтах.

На науку и ученых Толстой начал нападать еще в период работы над "Войной и миром". Естествоиспытателей и их поклонников он называет толпой невежд, а главным орудием распространения невежества объявляет книгопечатание<sup>2</sup>. Многократно и изощренно издевается Толстой над медициной. Если сам соглашается лечиться, то только для того, чтобы не огорчать близких. Но и тут не может удержаться от сарказма. Вот его уговаривают сделать прививку против дифтерита перед поездкой в зараженный район. Он отвечает:

— Пусть мне сделают прививку к сапогам... Право, я считаю одинаковым сделать прививку мне или моим сапогам<sup>3</sup>.

Ненависть и презрение Толстого к интеллигенции таковы, что, думается, термин "образованщина" был бы подхвачен им с огромным удовлетворением. "Интеллигенция внесла в жизнь народа в сто раз больше зла, чем добра", — пишет он в дневнике 1905 года<sup>4</sup>.

"И все это науки с самыми странными, вычурными названиями, и всем этим с величайшей важностью передаваемым друг другу исследованиям конца нет и не может быть, потому что делу бывает начало и конец, а пустякам не может быть и нет конца. Не может быть конца особенно тогда, когда занимаются этими так называемыми науками люди, которые не сами кормятся, а которых кормят другие и которым поэтому от

скуки и больше делать нечего, как заниматься какими бы то ни было забавами”<sup>5</sup>.

”Если бы живущие грабежом разбойники или воровством воры составили свою науку, то наука их не могла бы быть ничем иным, как только знаниями о том, как наиудобнейшим способом грабить, обворовывать людей, какие нужно иметь для этого орудия и как наименее неприятным образом пользоваться награбленным. То же и с науками людей нашего властвующего сословия”<sup>6</sup>.

”...наукой может быть только одно: знание того, что я такое и как я должен жить, чтобы исполнить свое назначение. Остальное не есть наука, а есть праздное употребление оставшейся без применения деятельности умственной поработавших классов, которое выразилось в играх, в театре, в ристалищах, в скачках, в ”науке” и т.д. Я даже всегда избегаю слова ”наука”; я говорю: ”так называемая наука”. То наука, а то дребедень. Я говорю такие страшные вещи, но я не могу иначе говорить. Если бы вы не знали, что земля вертится, а солнце стоит, ничего не было бы плохого. Подобные знания кажутся важными, а они — совершенные пустяки”<sup>7</sup>.

Такой же утилитарный критерий пытается Толстой прилагать и к искусству. Свои эстетические взгляды он излагает в двух больших работах: ”Что такое искусство?” (1897) и ”О Шекспире и драме” (1900). Слава Шекспира особенно не дает ему покоя. Ему представляется непостижимым, чтобы трагедии, наполненные злодействами, обманами, убийствами и прочими преступлениями, вызывали из века в век восхищение людей. Ответ, по Толстому, только один: ”Главная причина (славы Шекспира) была деятельность лишенных эстетического чувства ученых и усердных эстетических немецких критиков, составивших теорию объективного искусства, то есть сознательно отрицающую религиозное содержание драмы”<sup>8</sup>.

При этом сам Толстой не в силах заглушить в себе острое и непосредственное восприятие искусства, особенно музыки. ”Играли Моцарта, Гайдна, Бетховена, Аренинского, — записывает в своем дневнике секретарь Гусев, — Лев Николаевич был расстроган, плакал и повторял: ”Чудо! Чудо!” Но на следующий день он слушает французские народные танцы и восточные песни и немедленно начинает теоретизировать: ”Это настоящее искусство, на котором воспитывались эти Вагнеры и Бетховены и исказили его”<sup>9</sup>.

Политическая жизнь, армия, суд, правительство, законы вызывают у Толстого глубочайшее отвращение. Социальное неравенство людей кажется ему чудовищным и греховным, он переживает его, как постоянно ноющую рану в сердце. Поэтому всякое государственное устройство, основанное на неравенстве и охраняющее его, представляется ему чудовищным. А уж правительство, которое защищает себя посредством смертных казней, — это просто шайка преступников.

”Все французские Людовики, и Наполеоны, все наши Екатерины Вторые и Николаи I, все Фридрихи, Генрихи и Елизаветы, немецкие и английские, — несмотря на все старания хвалителей, не могут в наше время внушать ничего, кроме отвращения. Теперешние же властители, учредители всякого рода насилий и убийств, уже до такой степени стоят ниже нравственных требований большинства, что на них нельзя даже и негодовать. Они только гадки и жалки. Негодовать, и то не негодовать, а бороться надо не с этими лишенными высшего человеческого сознания существами, а с тем ужасным, отсталым учреждением насильственного государственного устройства, которое и есть главный источник страданий человечества”<sup>10</sup>.

”Строй нашей жизни неправилен, в этом неправильном строе жизни люди наименее совестливые всегда будут властвовать, как властвуют теперь наименее совестливые в правительстве: те, которые душат, подписывают смертные приговоры, сейчас же делают карьеру”<sup>11</sup>.

”Жизнь наша господская так безобразна, что мы не можем радоваться даже рождению наших детей. Рождаются не слуги людям, а враги их, дармоеды”<sup>12</sup>.

А вот из письма к премьеру Столыпину:

”Ясно, что право владения как собственностью хотя бы одним осьминником земли, будь владелец распрокрестьянин, так же незаконно и преступно, как владение богачем или царем миллионом десятин”<sup>13</sup>.

Иногда его манят к себе идеи социализма, коммунизма, анархизма. ”Социализм, — говорит он, — это осуществление идей христианства в экономической области”<sup>14</sup>. Но в дневниках признает, что ”социалисты никогда не уничтожат бедность и несправедливость, неравенство способностей. Умнейший и сильнейший будет пользоваться глупейшим и слабейшим”<sup>15</sup>.

Однако самые тяжкие обвинения, самые изобретательные

проклятья направлены в адрес господствующей Церкви. Это она извратила ясное и возвышенное учение Христа, она забывает людям головы рассказами о чудесах, загробной жизни, бессмертии души, воскресении из мертвых.

”Все людское зло — осуждение частных людей, осуждение целых народов, осуждение других вер и вытекавшие из таких осуждений казни, войны — все это оправдывалось церковью”<sup>16</sup>.

”Каждый день десять казней!.. И это все сделала церковь!.. А Христос велел не противиться злу!..”<sup>17</sup>.

Толстой готов обвинить церковь и священников виновными даже в уголовных преступлениях, совершаемых людьми повседневно. Вот он слышит рассказ о том, как старый мужик изнасиловал свою внучку.

”— Да, — сказал Лев Николаевич. — Я все больше и больше думаю об этом и все больше и больше чувствую... Сегодня я ехал и встречал детей — такие милые, славные дети. И все они будут развращены этими попами, — со слезами в голосе сказал Л.Н.”<sup>18</sup>.

## II

Нет, Толстой не позволяет себе остаться на удобной позиции голого отрицания. Он не просто отвергает существующие формы всех четырех сфер деятельности человека — он берется научить нас, как выбраться из тьмы заблуждений к свету истины.

Прежде всего ложная наука должна уступить место науке настоящей. Задачей истинной науки является ”знание того, что нужно делать всякому человеку для того, чтобы как можно лучше прожить в этом мире тот короткий срок жизни, который определен ему Богом, судьбой, законами природы”<sup>19</sup>.

Он разворачивает просветительскую деятельность огромных масштабов: выпускает дешевые книжечки для народа, основывает школы, сам учит детей, готовит сборник мудрых изречений величайших мыслителей на каждый день — ”Круг чтения”.

Есть у него готовая программа и по исправлению искусств. Главный критерий — понятность народу. Попадают формулы, под которыми мог бы подписаться и Андрей Жданов. Например, такие:

”Настоящее искусство, созданное рабочим народом, понятно всякому: персиянин поймет русского, русский — персиянина. А господское вранье никто не поймет — они и сами-то не понимают”<sup>20</sup>.

В качестве иллюстрации к новым рецептам, он пишет роман ”Воскресение”. Его огромный талант ворочается в тенетах морализования, как кит в сетях. Сам остался недоволен романом, но винит только собственную слабость, недостаток прилежания — не вериги навязанной на себя догмы.

Социальные реформы, предлагаемые Толстым, целиком базируются на учении американского экономиста Генри Джорджа. Только Генри Джордж додумался до того, как человеку освободиться от главного проклятья, от нарушения божественной справедливости — от частной собственности на землю. Земля должна быть общественным достоянием, и любой человек, пожелавший трудиться на ней, должен иметь на это право. За это он будет уплачивать обществу налог, который пойдет на больницы, школы, дома призрения. Таким образом, налогом будет облагаться не личность — что несправедливо, а земля.

Толстой неустанно пропагандирует систему Джорджа, помогает переводить его писания на русский язык, взывает к членам Государственной думы, к самому Столыпину, чтобы они перестали заниматься преступным разрушением сельской общины, а взялись, наконец, за важнейшее и спасительное дело: установление земельного налога по системе Генри Джорджа. Даже герою романа ”Воскресение” Нехлюдову он поручает пропагандировать Джорджа собравшимся мужикам.

В романах мужики послушны Толстому — кивают головою и говорят, что Джордж — это голова. Реальные мужики повели себя иначе. Дочь Толстого, Татьяна Львовна Сухотина, разившись идеями отца, решила утвердить систему американского экономиста в своем поместье Овсянникове. Мужики должны были вносить арендную плату не владелице, а в банк и потом расходовать ее на общественные нужды. Но как только мужики убедились, что хозяйка не собирается их контролировать всерьез, ”они перестали платить арендную плату и стали пользоваться землей даром. Некоторые крестьяне стали даже спекулировать землей, получая ее даром и сдавая соседям за плату...

Ко мне стали поступать жалобы, сплетни, доносы... Мне

стало досадно на крестьян за их спекуляцию, и я решила согласиться на их просьбу продать им через Крестьянский банк ту землю, которой они пользовались... Перестав интересоваться системой Г. Джорджа в ее применении к Овсянникову, я с тем большим интересом занялась ее теоретической стороной<sup>21</sup>.

В теории все получалось так волшебным образом, а в жизни? В жизни люди были безнадежно испорчены извращением учения Христа. Поэтому главные силы нужно было бросить на очищение христианских заповедей от церковных замутнений. Этой задаче посвящены такие труды Толстого как "Исповедь" (1879—82), "Критика догматического богословия" (1880), "Краткое изложение Евангелия" (1881), "В чем моя вера?" (1884) и многие другие. Он пытается "прояснить" учение Христа и свети его к пяти правилам-заповедям, каждое из которых начинается (в Толстовском изложении) с отмены какого-то требования Ветхого Завета:

1. Вам сказано "не убивай", а я (Христос) вам говорю, что всякий гневающийся на брата своего подлежит геене огненной (то есть "не гневайся").

2. Вам сказано "кто разведется с женой своею, пусть даст ей разводную"; а я вам говорю: кто разводится или женится на разведенной — прелюбодействует.

3. Вам сказано "не преступай клятвы", а я говорю: не клянитесь вовсе.

4. Вы слышали, что сказано древним — "око за око, зуб за зуб", а я вам говорю — не противься злу насилуем.

5. Вам сказано: "кто нарушит закон, подлежит суду"; а я вам говорю — не судите, да не судимы будете<sup>22</sup>.

Толстой обвиняет историческую церковь в сокрытии этих главных указаний Христа или в искажении их простого и буквального смысла. Но при этом он и сам обходит стороной многие Евангельские тексты, которые не вяжутся с его истолкованием: "Враги человека — домашние его" (Матф., 10:36); "Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться" (Матф., 6:25); "Если кто приходит ко мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником" (Матф., 14:26).

Даже сами новые правила не полностью опираются на Евангельские тексты. Так, заповедь о прелюбодеянии на самом

деле направлена не против развода, а против вожделения как такового. "А я вам говорю, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем" (Матф., 5:28). Но как же можно включить в правила повседневной жизни людей требование "не вожделей"? Они ведь и слушать не станут. И Толстой вставляет "не разводись". Толстой изучает древние языки, сравнивает различные переводы Евангелия, стремясь доказать, что "не судите да не судимы будете" (Матф., 7:1) означает "не участвуйте в судах человеческих"; но при этом не замечает, что здесь же, в Нагорной проповеди, приводятся слова: "кто же гневается на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему "рака", подлежит синадрию" (Матф., 5:22).

С самой ранней юности Толстой составлял для самого себя правила жизни, вписывал их в дневник и, видимо, не представлял себе, что можно учить людей чему-то помимо правил.

Новому понятию о Боге, например.

### III

В своей статье "Ветхий и Новый завет в религиозном сознании Льва Толстого" Николай Бердяев пишет:

"Не антиномично ли, что русский до мозга костей, с национальным мужицко-барским лицом, он проповедовал чуждую русскому народу англо-саксонскую религиозность? Этот гениальный человек всю жизнь искал смысла жизни, думал с смерти, не знал удовлетворения, и он же был почти лишен чувства и сознания трансцендентного, был ограничен кругозором имманентного мира. Наконец, самая разительная толстовская антиномия: проповедник христианства, исключительно занятый Евангелием и учением Христа, он был до того чужд религии Христа, как мало кто был чужд после явления Христа, был лишен всякого чувствования личности Христа"<sup>23</sup>.

Этот список вопиющих противоречий толстовской личности и судьбы можно продолжать очень долго. Он учил любить всех людей на свете, а сам не мог преодолеть отвращения к собственной жене, которая была ему верной спутницей в течение сорока лет. Он был отлучен от церкви, предан анафеме, произведения его запрещались цензурой, а крупнейшие вельможи Российской империи при всяком удобном случае выражали

ему почтение. Он учил миру и согласию, а его проповедь сеяла смуту, какой не бывало в России со времен раскола.

Каждый день почта приносила в Ясную Поляну не только отзвуки народного признания, но и крики ненависти.

”Окаянный, презирающий Россию Иуда, удавивший в своем духе все святое, нравственно чистое, нравственно благородное, повесивший сам себя, как лютый самоубийца, на сухой ветке собственного возгордившегося ума и развращенного таланта”, — писал о нем епископ Саратовский Гермоген<sup>24</sup>.

Какая-то женщина прислала в ящике длинную и толстую веревку с запиской следующего содержания: ”Граф! Ответ на ваше письмо. Не утруждая правительство, можете сделать сами, нетрудно. Этим доставите благо нашей родине и нашей молодежи. *Русская мать*”<sup>25</sup>.

Но не только чернь и православная церковь отказывали Толстому в знании христианства. Такого же мнения придерживались и серьезные мыслители. Вот что пишет Лев Шестов в книге ”Добро в учении гр. Толстого и Ф.Ницше”:

”Несмотря не то, что он всегда ссылается на Евангелие, христианского в его учении очень мало. Если приравнять его к св. Писанию, то разве к Ветхому Завету, к пророкам, которых он напоминает характером своей проповеди и требовательностью. Он не хочет убедить людей — он их запугивает. ”Делайте то, что я говорю вам, иначе вы будете безнравственными, развратными, испорченными существами””<sup>26</sup>.

Шестову вторит Н.Бердяев:

”Мироощущение и мирозерцание Льва Толстого вполне внехристианское и дохристианское во все периоды его жизни... Лев Толстой весь в Ветхом завете, в язычестве, в Отчей Ипостаси. Религия Толстого — не новое христианство, это — ветхозаветная, дохристианская религия”<sup>27</sup>.

Вообще, поправлять Толстого, опровергать его, ловить на противоречиях и несообразностях — дело увлекательное и несложное. Он дает для этого тысячи поводов. Но в какой-то момент поневоле в голове возникает вопрос: если он так был во всем неправ, почему проповедь его так волновала его современников? Почему слова его долетали до самых дальних уголков земли и известнейшие мыслители искали его совета и одобрения? Каким образом умнейший и образованнейший человек своего времени мог не замечать ошибок в своих рассуждениях,

очевидных любой посредственности? Какая внутренняя логика, какая вера наполняла его проповедь такой страстью, упорством и убежденностью?

И если мы зададимся этим вопросом всерьез, если еще раз окинем мысленным взором его писания последних тридцати лет, мы очень скоро увидим, что такая единая, всепоглощающая и всеобъясняющая вера у Толстого была. Этой вере подчинял он все свои рассуждения, ей же пытался подчинить и повседневную жизнь, в нее же пытался обратить как близких своих, так и весь мир.

Лев Николаевич Толстой безоглядно верил в Добро.

Он был идолопоклонником Добра.

В его глазах Добро, всеобщее благо людей было чуть ли не целью мироздания, а следовательно могло и должно было служить критерием ценности всего остального.

Понятно, что, с точки зрения Добра, безразлично, вращается ли Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли.

Понятно, что, с точки зрения Добра, Шекспир — очень плохой писатель, а вместе с ним в плохие попадают Софокл, Эврипид, Эсхил, Аристофан, Данте, Мильтон, Ибсен, Метерлинк, Верлен, Малларме и многие, многие другие писатели, поэты, композиторы, художники, а также "вся та огромная масса ни на что не нужных подражателей этих подражателей"<sup>28</sup>.

Понятно, что, с точки зрения Добра, все человеческие законы и государственные учреждения есть апофеоз бесчеловечности.

И уж коли вера в Добро владеет душой человека так повластно, понятно, что он и Бога будет стараться подчинить ей, поставить под команду Добра.

Но тут-то его и будет подкарауливать главная трудность.

#### IV

Он губит и непорочного и виновного. Если этого поражает Он бичом вдруг, то пытке невинных посмеиваются. Земля отдана в руки нечестивых; лица судей ее Он закрывает. Если не Он, то кто же?

Иов, 9:22-24

Стара как мир проблема, стоящая перед каждым верующим: совместить представление о всемогуществе Божьем с

картиной человеческих страданий. Каждый день где-то на земле грешные люди и не успевшие еще ни в чем согрешить дети гибнут в пожаре, умирают от голода, корчатся на больничных койках, тонут в морской пучине. Либо Господь видит все это и не прекращает — тогда Он не добр; либо он не знает о происходящих ужасах — тогда Он не всеведущ; либо Он видит, состраждет, но не может помочь — тогда Он не всемогущ.

Толстой страстно верит в Бога — Отца, Хозяина, пославшего нас в этот мир, — и не соглашается ни в чем умалить Его величие. Бог всемогущ, всеблаг, всеведущ, а источник всех страданий на Земле — людская глупость и непослушание воле Пославшего. Чтобы оправдать во всем Бога, надо всю вину перенести на человека. Это и есть главный стержень проповеди Толстого. Все несообразности, противоречия и парадоксы его учения подчинены этой сизифовой задаче.

“Не так живем, не так живем, не так живем”, — и в этом только *наша* вина, за это нам и наказание.

Плоха наша наука — горы ненужных сведений и прямых обманов.

Плохо наше искусство — набор развлекательных или развращающих пустяков.

Ужасно наше общество — тюрьма, охраняющая штыками и виселицами грех неравенства.

Чудовищна наша религия — сознательное и корыстное извращение Слова Божия.

Где уж тут помнить о дисциплине мышления, преподанной Кантом. Имея в руках отмычку Добра, Толстой вламывается с ней в любую из четырех сфер жизни человека и производит там настоящее опустошение. Нет авторитетов, перед которыми бы он готов был остановиться, усомниться в своей правоте. И не только среди ученых, художников, политиков.

“Прежде я не решался поправлять Христа, Конфуция, Будду, — говорит Толстой в 1907 году, — а теперь думаю: да, я *обязан* их поправлять, потому что они жили две тысячи лет тому назад”<sup>29</sup>.

“Христос воскрес. Лучше бы ему не воскресать, чем говорить такие глупости, какие он говорил после воскресения. Ни одного умного слова. И вот люди обрадовались и звонят. Когда это кончится?”<sup>30</sup>.

Толстой больше не знает сомнений. В дневниках часто

встречаются молитвенные обращения к Богу, но все они — просьба о даровании сил, о помощи в отыскании пути, но не об отыскании цели. Цель ему ясна: торжество Добра, всечеловеческого блага.

”Вы верите в то, что человечество обязательно придет к добру?” — спрашивает его толстовец Бодянский.

”Да, несомненно!”

”Значит вы верите в предопределение?”<sup>31</sup>.

Толстой уклоняется от ответа. Ибо если торжество Добра предопределено, о чем нам волноваться? А если оно зависит от наших жалких усилий, то велики ли у нас шансы на это торжество?

”Чтобы знать то, как наилучшим образом прожить свою жизнь в этом мире, надо прежде всего знать, что точно хорошо всегда и везде и всем людям и что точно дурно всегда и везде и всем людям”<sup>32</sup>.

Толстой не верит, что люди бывают разные и что всему ”свое время... под небом: время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть”. (Эккл., 3:2-8). Разные желания, разные порывы — это все выкрутасы образованных индивидуалистов, которые надо выжечь каленым железом универсального Добра.

Толстой воображает, что он знает заветную формулу. Уже в ”Войне и мире” он вкладывает ее в уста князя Андрея: ”Я знаю только два зла на свете — болезни и угрызения совести. Счастье — это только отсутствие этих двух зол”<sup>33</sup>.

Хочется спросить Толстого: если невинного человека, которому нечем угрызаться, посадить в комфортабельную тюрьму, где его будут сытно кормить и безотказно лечить, он что — автоматически должен сделаться счастливецом?

Но понимаешь, что спрашивать так — бесполезно. Почти нигде в своей проповеди Толстой не употребляет слово ”свобода”, и уж конечно не признает свободу благом для людей, благом, без которого самый сытный и теплый рай сделается не мил.

Не хочет помнить он и другого: что люди неравны не только по социальному положению, но и по врожденным способностям своим, по талантам, по энергии; что вся мировая цивилизация оказалась возможна только потому, что одаренное мень-

шинство получило возможность не работать руками, а мыслить, изобретать, постигать мир и Бога; что люди различны по своим страстям и устремлениям и что для одного окажется благом, для другого обернется тяжким наказанием. Ничего этого признать Толстой не может, потому что тогда рухнет вся логическая постройка, служащая фундаментом для его идола — всеобщего, одинакового, неизменного, для всех годящегося Добра.

## V

История мировой культуры дает нам много примеров того, как одна из сфер духовной деятельности человека пытается захватить власть над тремя другими. Полное торжество рациональной сферы дает в итоге марксизм-ленинизм. Засилье эстетического начала выливается в нищезанятие. Религиозное начало доминировало над наукой, искусством и моралью веками в виде схоластического богословия. Предшественниками Толстого, пытавшимися передать бразды правления Добру, можно считать Платона и Руссо. Но, в отличие от них, Толстой главным аргументом делает не книги свои, а собственную жизнь.

Думается, при его взглядах на мир самым правильным и последовательным поступком для него было бы удалиться от людей — в монастырь, в скит, в Оптину пустынь. Многие последователи его к этому призывали. Но он остается с людьми — ближними и дальними. И живет в непрерывном страдании.

Он мучается несправедливостью своего привилегированного положения среди окружающей бедности.

Он мучается тем, что не может полюбить жену, но также мучается тем, что слишком любит дочерей — исключительной, эгоистической любовью.

”Меня семья так связала, что я принужден вести такую жизнь, которая меня заставляет страдать с утра до ночи. И прачка, которая стирает мое белье, и старик, который пашет в то время, как я гуляю... А уйти из этой жизни я не могу: это огорчит тех, которые меня любят”<sup>34</sup>.

Он мучается тем, что людей, распространяющих его идеи, бросают в тюрьмы, а его самого при этом не трогают.

Он мучается сознанием надвигающейся на Россию ката-

строфы и сознанием вины за то, что он — и он тоже — не сумеет предотвратить ее.

И, возможно, что вот именно эта безысходная, тридцатилетняя мука и составляет главное наполнение учения Толстого. Пусть цели, к которым зовет он (взять хотя бы непротивление злу насиліем!), недостижимы, пусть идеалы — невыполнимы, но мы видим, на какие страдания обрекает себя человек, стремящийся к ним, — и не можем уже отмахнуться от этих целей и идеалов как от пустяков. Мы вслушиваемся в его крики и стоны, и постепенно до нас доходит, точно брезжащий свет, глубинный религиозный смысл этой судьбы. Мы начинаем догадываться, что перед нами человек, возлюбивший Бога с такой страстью, что он отказался признавать зло и страдание необходимой частью Творения.

Бог невиновен в ваших страданиях — виновны только вы сами, говорит он нам. Он создал вас наделенными всем необходимым для счастья, дал вам заповеди жизни, но вы не хотите исполнять их и за это-то и расплачиваетесь. А то, что заповеди исполнимы, я докажу вам на собственном примере. Но оказывается, что мало отказаться от собственности, от привилегий, от насилия, от мясоедства. Надо еще научиться любить нелюбимых и разлюбить любимых. День за днем, год за годом он тянет эту противоестественную муку, ибо понимает: стоит допустить индивидуальную, избирательную любовь, и станет неизбежным страдание тех, кого не любят, — даже в идеальном, накормленном, одетом и обезоруженном мире.

Иногда возникает подозрение: а не выросло ли мировоззрение Толстого просто из гипертрофированного чувства ответственности? Не стремился ли он подсознательно устроить мир таким образом, чтобы никто — в том числе и он — ни за что не отвечал? Ведь "верно — неверно" таит в себе ответственность за совершение ошибки — значит, долой "ложную науку", которая ловит нас на этих ошибках. Ответственность перед "красиво — безобразно" может пронзить стыдом за несовершенство творения — значит, долой искусство, в том числе и собственное. Ответственность перед сородичами и соплеменниками чревата необходимостью защищать их и заботиться о них — значит, долой семью, собственность и государство. Ответственность перед Богом всегда чревата тягостным сознанием греха — значит, долой такого Бога, который лишь неявно зовет куда-то, и да здрав-

ствует тот Бог, который даст нам ясный список правил.

И если бы Толстой хоть на день своей жизни стал доволен собой, это подозрение обрело бы почву. Но страдание его и неудовлетворенность длятся непрерывно, лишь временами ослабевая, чтобы тут же усилиться еще больше, — и это придает весомость всему, что он говорит и к чему зовет.

Библейский Иов не признал заслуженности своих страданий — и был Богом оправдан.

Толстой не смеет вступить в тяжбу с Богом, снимает с него вину за страдания человечества и за свои собственные, но мучается он не меньше, чем Иов.

Значение религиозной проповеди Толстого до сих пор оценивается по разному — от полного признания до полного отрицания.

“Возможно, Толстой и не является православным мыслителем, — пишет профессор Густафсон, — но он безусловно крупный христианский художник и теолог в рамках русской православной культуры”<sup>35</sup>.

Профессор Джордж Клайн считает, что “Толстой рационализировал религию, сводя ее к разумным правилам поведения”<sup>36</sup>.

“Толстой — гениальный художник и гениальная личность, — пишет Бердяев, — но он не гениальный и даже не даровитый религиозный мыслитель... Гениальные религиозные переживания и недаровитые, банальные религиозные мысли!”<sup>37</sup>.

Но нужны ли Богу наши умные мысли о нем? Или он ждет от нас чего-то совсем другого?

Было много разумных верующих людей во времена Толстого, которые рассуждали о Боге гораздо логичнее и правильнее него, гораздо строже соблюдали заповеди Канта. Но почему же так вышло, что христианские идеалы добра, любви, милосердия дошли до нас, прорвались сквозь десятилетия кровавого безбожия, не в писаниях этих людей, а именно в книгах Толстого?

И почему именно ему было даровано такое острое пророческое предчувствие надвигающейся катастрофы?

В ноябре 1984 года он записывает в дневнике: “Хотят спасти тонущее самодержавие и посылают на выручку ему православие, но самодержавие утопит православие и само потонет еще скорее”<sup>38</sup>.

В ноябре 1908 года он предсказывает скорое крушение института земельной собственности и говорит: "Я думаю, что мы накануне огромного переворота, в котором Дума не будет играть никакой роли"<sup>39</sup>.

"Я умру, а вы увидите... Увидите, как все распадется, вся жизнь"<sup>40</sup>.

Значение религиозной проповеди Толстого невозможно оценивать только в критериях "верно — неверно", "полезно — вредно", "христианская — еретическая". Не потому ли, что он — как огромный костер, на котором каши не сварить, которым дом не отопишь и который нужен только для того, чтобы светить далеко-далеко во времени и пространстве?

"И свет во тьме светит, и тьма не объяла его" (Иоанн, 1:5).

И не о таких ли, как Толстой, сказано в Священном писании:

"Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не искавшие Меня" (Исайя, 65:1; Рим., 10:20).

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Н.Н. Гусев. Два года с Толстым. Москва, "Художественная литература", 1973, стр. 191, 190.
2. Л.Н. Толстой. Война и мир (второй эпилог). Собрание сочинений в 20 томах. Москва, Кушнеров и Ко., 1911, т. 8, стр. 403. (Далее — СС-1911.)
3. Н.Н. Гусев, ук. соч., стр. 257.
4. Л.Н. Толстой. Дневники. Полное собрание сочинений в 90 томах. Москва, 1928—58, т. 55, стр. 145. (Далее — ПСС-1958.)
5. Л.Н. Толстой. О ложной науке. СС-1911, т. 17, стр. 458-59.
6. Там же, стр. 469-70.
7. Н.Н. Гусев, ук. соч., стр. 272.
8. Л.Н. Толстой. О Шекспире и драме. СС-1911, т. 17, стр. 440.
9. Н.Н. Гусев, ук. соч., стр. 69.
10. Л.Н. Толстой. Письма. Собрание сочинений в 20 томах. Москва, 1960-65, т. 18, стр. 402. (Далее — СС-1965.)
11. Н.Н. Гусев, ук. соч., стр. 166.
12. Л.Н. Толстой. Дневники (1900). ПСС-1958, т. 54, стр. 25.
13. Л.Н. Толстой. Юбилейный сборник под ред. Н.Н. Гусева. М.-Л., Госиздат, 1928, стр. 86.

14. Н.Н.Гусев, ук. соч., стр. 135.
15. Л.Н.Толстой. Дневники (1898). ППС-1958, т. 53, стр. 186.
16. Л.Н.Толстой. В чем моя вера? СС-1911, т. 13, стр. 524.
17. Н.Н.Гусев, ук. соч., стр. 128.
18. Там же, стр. 171.
19. Л.Н.Толстой. О ложной науке. СС.-1911, т. 17, стр. 455.
20. Н.Н.Гусев, ук. соч., стр. 69.
21. Т.Л.Сухотина-Толстая. Воспоминания. Москва, "Художественная литература", 1976, стр. 360.
22. Л.Н.Толстой. В чем моя вера? СС-1911, т. 13, стр. 601.
23. Н. Бердяев. Ветхий и Новый завет в религиозном сознании Л.Толстого. ("О религии Льва Толстого". Париж, ИМКА-пресс, 1978, репринт с издания: Москва, "Путь", 1912), стр. 176.
24. Н.Н.Гусев, ук. соч., стр. 218.
25. Там же, стр. 201.
26. Л.Шестов. Добро в учении гр. Толстого и Ф.Ницше. Философия и проповедь. Париж, ИМКА-пресс, 1971 (репринт с издания: С-Петербург, Стасюлевич, 1900), стр. 94.
27. Н. Бердяев, ук. соч., стр. 177.
28. Л.Н.Толстой. Что такое искусство? СС-1911, т. 17, стр. 282.
29. Н.Н.Гусев, ук. соч., стр. 56.
30. Там же, стр. 140.
31. Там же, стр. 114-15.
32. Л.Н.Толстой. О ложной науке. СС-1911, т. 17, стр. 455.
33. Л.Н.Толстой. Война и мир. СС-1911, т. 6, стр. 134.
34. Н.Н.Гусев, ук. соч., стр. 146.
35. Richard F. Gustafson. Leo Tolstoy. Resident and Stranger. Princeton, Princeton Univ. Press, 1968, p. 457.
36. George L. Kline. Religious and Anti-Religious Thought in Russia. Chicago & London, The Univ. of Chicago Press, 1968, p. 34.
37. Н. Бердяев, ук. соч., стр. 173.
38. Л.Н.Толстой. Дневники (1984). ПСС-1958, т. 52, стр. 152.
39. Н.Н.Гусев, ук. соч., стр. 226.
40. Там же, стр. 228.





низации (в зависимости от страны назначения) брали их под свое крыло: выдавали им мизерное пособие и селили их в пансионах и дешевых отелях на время оформления иммиграционных бумаг. Поскольку я не знал ни ожидаемой даты прибытия, ни идеологических намерений моего Рабиновича относительно географии, мне ничего не оставалось, как разыскивать его по нескольким направлениям сразу. Гиблое, в общем-то, дело. Но выхода у меня не было.

Я чувствовал себя обязанным. В последние месяцы перед отъездом мы довольно близко сошлись с Марком. Впрочем, слова "близко" и "сошлись" надо понимать в узко московском, советском смысле. Марк Рабинович был одним из "проводальщиков"-активистов той отъездной эпохи; ни одни проводы тех лет не обошлись без него. Он брал на себя все хлопоты по оформлению бумаг, разного рода разрешений на вывоз книг или картин, занимался отправкой багажа, улаживанием квартирных дел. Из-за отсутствия платных агентств и наемной прислуги бытовые проблемы у нас разрешаются с помощью друзей; бытовые хлопоты поэтому воспринимаются как интенсивное дружеское общение, а разрешение бытовых неурядиц и передраг — как апогей дружеского интима. Так или иначе, Марк Рабинович, в свое время активно проучаствовав в беготне вокруг моего отъезда из Москвы, считал меня теперь чуть ли не единственным близким ему человеком "за кордоном". Наступала моя очередь поучаствовать в его судьбе: если не дружбой, то хотя бы ответной беготней вокруг его приезда в Вену.

Поскольку у меня двойное — израильское и английское — подданство, связи тут же обнаружались во всех иммиграционных агентствах, эмигрантских организациях и дипломатических службах; в результате дня не проходило без звонка мне в пансион с извещением о прибытии в Вену очередного Марка Рабиновича. Тот факт, что он не из Москвы, не того возраста, не рыжий и вообще не тот Рабинович, выяснялся в последний момент. Я послушно плелся в очередной центр, пансион, отель, благотворительную организацию, чтобы столкнуться с еще одним вывихом эмигрантской судьбы — с истериками и паникой, неоправданными надеждами и скандальным вымогательством надежду не оправдавших.

Я видел двух пенсионеров, бывших заслуженных больше-

виков, с выпадающими искусственными челюстями; плюясь друг в друга зубами и мокротой, они осипшими голосами спорили: можно или нельзя в штате Техас организовать подписку на журнал "Работница" с доставкой на дом?

Я видел евреев, круглые сутки зашивающих под подкладку пиджаков все свое личное имущество, включая алюминиевые кастрюли: они готовились к нелегальной переброске в Западную Германию — под вагонами поезда и в багажниках автомашин; евреям там давали, по слухам, почетное гражданство и денежную компенсацию за ужасы нацизма.

Я видел людей, твердо уверенных в том, что задача израильских иммиграционных агентств — выкрасть их из отеля и затем под присмотром немецких овчарок и под дулами автоматов "узи" отправить на принудительные работы в социалистические киббуцы пустыни Негев.

Я видел людей, набивающих чемодан за чемоданом пластиковыми продуктовыми пакетами, — это был самый доступный в Вене символ процветания для тех, кто руководствовался советскими критериями. Заодно припрятавались и пластиковые помойные мешки для мусора, выдававшиеся постояльцам администрацией отеля. Эти блестящие мешки складывались в копилку будущего благосостояния, а помойку выбрасывали тайно по ночам в коридор и на улицу через окошко. В коридорах несло помоями эмигрантского настоящего.

В большинстве отелей уже не работала канализация. Канализация была забита прежде всего газетами: ими пользовались, по советской давнишней привычке, вместо туалетной бумаги, а туалетную бумагу опять же припрятавали, а потом продавали на эмигрантских толкучках, импровизированных бошинных рынках. Но самым ужасным были куриные перья в унитазах. Бывшие советские люди, попав в Вену, как кур в ощиц, быстро разнюхали, что самый дешевый мясной продукт на Западе — курица, которая, как известно, не человек, точно так же, как женщина — не птица. Согласно того же рода российским соображениям, курица, выпотрошенная и упакованная в блестящую пластиковую обертку с наклейкой супермаркета, должна быть заведомо дороже той, что продают с рук, с базарного лотка, в "диком" натуральном виде. Эмигранты покупали на рынке живую птицу и, зарезав, потрошили ее прямо в номере. Ощипанную птицу кидали в электрокипяtilьник фирмы "Раду-

га", а перья спускались в сортир. То есть, перья никак не спускались: трубы уже были забиты перьями предыдущей курицы.

Эти гостиницы для советских эмигрантов узнавались на расстоянии — по вони, и еще по постоянному шебурушению и толкучке разного рода людишек у входа. Тут обязательно торчал весь день, как перед входом в публичный дом, архетипический верзила в футболке с малохольным выражением лица, чья деловитость и озабоченность проявлялась лишь в беспрестанной работе челюстей: они усердно пережевывали жвачную резинку — обретенный, наконец, в неограниченных количествах дефицитный продукт; кроме того, тут всегда судачили бабки в знакомых платочках, усевшиеся вместо лавки прямо на ступеньки или на ящики из-под пива. На фоне майской шикарнейшей, похожей на кремовый торт Вены, утопавшей по весне в вальсах Штрауса и молодом вине, эти шевелящиеся скученым бытом, как черви в банке, эмигрантские общежития гляделись как лепрозории, как чумные карантинны.

После разоблачения очередного подставного Рабиновича я убежал от этой эмигрантской заразы в Гринциг — пригород Вены в часе трамвайной езды от центра. Буколика мощеных улочек, где в каждом доме с пряничной крышей — винный погребок, со столами во дворе и домашними хозяйками в кокошниках и чуть ли не кринолинах, с кружевными нижними юбками при фартуках, разносящими кружки с молодым вином, — все это как будто презрительно сторонилось, как неопрятного доходяги, вышеописанной толкучки венских кварталов, по-городскому неразборчивых в своей готовности приютить чужаков вроде моих сородичей по эмиграции, с их чемоданной сутолокой и потной хваткой, цепкостью и напором. Это инстинктивное чувство снисходительности и презрения, гримаса непроницаемости, когда в глаза не видишь бедного родственника или никчемного и опустившегося старого приятеля на светском рауте, эта привычка дурно воспитанных аристократов дернуть плечом и пройти мимо, не повернув головы, со страшной легкостью прививалась и мне в эти венские дни. Как-никак, я считал себя аристократом эмиграции, в то время как они — советские новоприбывшие — были ее плебсом, люмпен-пролетариатом.

Избежать столкновения с ними было, впрочем, нетрудно: они были заметны за версту, они были как прыщ на напудрен-

ном подбородке Вены. Нечто необъяснимо советское тут же угадывалось в грустно склоненной по-бычьей шее, в бессмысленной целеустремленности (в поисках дефицита?) походки, в приниженной сгорбленности и опущенном лице со взглядом исподлобья. Или же, наоборот, в болванистости выпученных от радости глаз и раскрытого рта, в гнусавом и надрывном голосе, все непрерывно и без разбора комментирующем, как акын перед чайной; в преувеличенной жестикуляции, как будто эти истосковавшиеся по вещам руки хотят все перетрогать и перещупать в новом для них мире сбывшегося сна. Именно к этой, второй, категории и относился тип, усевшийся напротив меня через скверик, у остановки, где я, в один из своих загулов в Гринциге, дождался обратного трамвая в Вену.

Слегка навеселе, я пропустил один трамвай, следующий ожидался через полчаса; мне ничего не оставалось, как усесться на лавочку и наблюдать, прикрывшись для виду газетой, классическую пантомиму ужимок эмиграции.

Он был не один: яростно жестикулируя и талмудически раскачиваясь, он втолковывал свое авторитетное мнение — несомненно по актуальным вопросам мировой политики и судеб земной цивилизации — дородной американке в летней панамке и строгом платье в горошек; она была явно одной из тех дам-благотворительниц, добровольцев из американских агентств, что опекают прибывших в Вену советских евреев, как будто это психически больные родственники. Впечатление мой соотечественник производил, действительно, не слишком нормальное. Типу этому было лет под пятьдесят — устрашающей породы спорщиков из провинциальных интеллигентов — то ли инженер, то ли школьный преподаватель истории, разочаровавшийся в марксизме-ленинизме. Все в нем выдавало полуобразованного демагога из российских окраин: коренастый и раздутый, как уродливая картофелина, не в высоту, а в ширину и вбок, он был затянут, как в кожуру, в застиранную ковбойку: его кожа, как будто запыленная загаром, оттенялась сединой дорожной небритости; сломанная, видно, оправа его очков была перетянута около дужки клейким пластырем, и он деликатно придерживал очки двумя пальцами — в неожиданно пародийном профессорском жесте.

Машинально скользя взглядом по газетной странице, я вздрагивал, как будто пойманный с поличным, от раскатисто-

го и твердого российского "р" в немислимом, изуродованном, переломанном по всем суставам английском моего бывшего соотечественника. Видимо, лишь я во всей округе мог догадаться до смысла его сентенций, которые он натужным голосом выкрикивал в ухо американке. Как и следовало ожидать, этот смысл сводился к осуждению австрийского населения за отсутствие душевной теплоты и недостаточное сопротивление советскому проникновению на Ближний Восток. Каждый советский человек точно знал, на кого надо сбросить атомную бомбу, чтобы спасти все светлое и гуманное на земле. Терпимость и политес заключались в том, что на одних бомбу надо было сбросить прямо сейчас, а на других несколько позже; разногласия возникали только по вопросу о сроках.

Американку подобные стратегические тонкости явно интересовали лишь постольку, поскольку мой бывший соотечественник находился под ее опекой и административным надзором. Она кивала охотно головой в знак согласия, но взгляд ее лениво блуждал по площади: так выглядят нянечки, приставленные к пациентам частных психиатрических клиник. Когда ее настырный собеседник слишком яростно начинал размахивать руками, до меня доносились ее вежливые ни к чему не обязывающие возражения. Так беседуют с невменяемым. Разговор их так или иначе сворачивался. Американка поднялась и, энергично пожав руку моему правдолюбцу, зашагала, с завидной жовиальностью толстухек, в сторону винных погребков, откуда уже доносилось разудалое пение под грохот кружек, как будто имитирующих классический звуковой фон из советских фильмов о разгуле нацизма. Через плечо у американки свисала фотокамера, и я подумал, что, может быть, она вовсе и не опекает моего бывшего соотечественника, а столкнулась с ним случайно, разговорившись невзначай. Так или иначе, без опекунов или противников в споре этот тип существовать явно не мог: стоило американке удалиться, как его глаза стали прочесывать площадь в поисках новой идеологической жертвы. Я тут же еще глубже зарылся в свою английскую газету.

Но было поздно: он неумолимо продвигался в мою сторону и через мгновение уже усаживался на другом конце моей лавочки. Оглядевшись, он стал рывками пересаживаться, сокращая расстояние между нами, как подвыпивший гуляка, клеящий девицу на бульваре. Искося я наблюдал за этой панто-

мимой загадочных кивков, невнятных хмыканий, зазывных улыбок, подмигиваний и подергиваний; пока, наконец, до меня не дошло, что своеобразная азбука немых изображала просьбу закурить. У него просто-напросто не было спичек. Я, почти не поворачиваясь, достал зажигалку и поднес огонек к его вывернутой в мою сторону физиономии с сигаретой в зубах. В последний момент порыв ветра рванул вбок огонек зажигалки, мой непрошенный сосед дернулся, сигарета вылетела у него изо рта, он вцепился в нее на лету всей пятерней, и от сигареты на глазах осталась рваная папиросная бумага и кучка табаку. Он тут же стал хлопать себя по карманам в поисках пачки, достал изжеванную бумажную обертку — из самых дешевых местных сортов — и убедился, что пачка совершенно пуста. Очки его с заклеенной скотчем дужкой съехали набок, вид у него был прежалкий, я не выдержал и достал свою пачку "Бенсон энд Хеджес". Он вытянул сигарету деликатно двумя пальцами, обнюхал ее, изучил английское торговое клеймо и сказал с уважением, полувопросительно: "Ынглишь?" И уже не сомневаясь, тыкнув пальцем в газету "Таймс" у меня на коленях: "Ынглишь!"

Эта тонкая и прозрачная газетная страница, испещренная иностранными иероглифами, этот самый "ынглишь" стали для меня в это мгновение верным политическим убежищем, пуленепробиваемым стеклом, за которым я мог пересидеть в полной душевной безопасности эмигрантскую атаку и в то же время не упустить ни одного момента метаболизма этого марсианского пришельца. Признаться этому монстру в родстве значило проигнорировать собственный многолетний опыт освобождения от рабства советского прошлого и вновь приобщиться к ажиотажу эмигрантской толкучки в выборе новой родины. Каждый Рабинович этого заезда высказывал совершенно непрекаемое мнение насчет того, куда надо ехать. Но каждый, тем не менее, с энтузиазмом ждал опровержения своего окончательного решения, потому что втайне от себя подозревал, что кто-то другой знает нечто такое, что неизвестно ему: что-то кому-то давали получше здешнего где-то там, где нас нет. Полный аристократического презрения к подобным плебейским дилеммам, я, не моргнув глазом, кивнул головой и подтвердил, что я да, мол, "ынглишь". Признайся я в своем российском происхождении, разговор тут же скатился бы к выяснению того, где и как можно устроиться. Я же не был заинтересован в увеличе-

нии российского этнического меньшинства на британских островах.

Мой Рабинович энергично затянулся английской сигаретой, снова поправил сломанную дужку очков по-лекторски двумя пальцами, потер подбородок и, придвинувшись ко мне вплотную, доверительно сообщил на своем чудовищном английском, что Англией он крайне недоволен. Я осторожно заинтересовался, чем же это ему Англия не угодила. Англия, как выяснилось, не помогает Израилю. Я пробормотал что-то насчет декларации Бальфура и что даже мусульманские народы обвиняют Англию в том, что Израиль — ее, Англии, креатура. На это неумолимый Рабинович возразил, что английские педерасты — известные любители мусульманских народов, которых давно пора кастрировать; англичане накладывают эмбарго на продажу оружия израильтянам вместо того, чтобы засунуть хорошенькую бомбу в зад палестинским террористам. Эти палестинцы, которым давно следует поотрывать яйца, обосновались в Ливане и не дают жить местному христианскому населению, а весь мир, кроме Израиля, смотрит на это сквозь пальцы.

Тут мое любопытство к бреду бывших соотечественников стало уступать место застарелой неприязни: вновь российский человек знает, кому следует поотрывать яйца и кого кастрировать; вновь мы окружены врагами и опять кто-то виноват в неприглядности и убогости нашего бытия и мышления; вновь готовится заговор против христианской цивилизации и, чтобы ее спасти, надо сбросить еще на кого-то еще одну бомбу. Не говоря ни слова, я сунул под нос этому искателю справедливости разворот в "Таймс" — с фотографией последней израильской бомбежки палестинского лагеря под Бейрутом: трупы стариков, женщин и, естественно, детей, да и террорист с оторванными яйцами в госпитале тоже не вызывал особого ликования. Мой компатриот смотрел на эту фотографию как в афишу коза. Об этом налете чуть ли не целую неделю долдонили все газеты, радио и телевидение, но советский Рабинович об этом впервые слышал.

"Я ведь по-английски и по-австрийски плохо понимаешь", признался он, коверкая грамматику; впервые за весь разговор на его лице появилось выражение беспомощности.

"Могли бы заглянуть в русскую газету", сказал я. "Вам в отеле выдают бесплатно эмигрантскую прессу". "В каком оте-

ле?” — затряс он головой. Он не читает по-русски. Он русский презирает. На нем говорит Советский Союз, а Советский Союз поддерживает его кровных врагов — палестинских террористов.

“На каком же, интересно, языке вы вообще читаете, если не по-русски?” взбесился я на этого заново рожденного сиониста. “Вас в школе какому языку обучали? Еврейскому что ли? Или, может, арабскому?” “Ну да — арабский”, кивнул он. И повторил: французский и, конечно, еще и арабский. Он же двуязычный, как всякий христианин-ливанец из Бейрута. И он развел руками, как будто извиняясь за знание арабского.

...Ковбойка оказалась ливанского производства. Как и засаленные брюки с волдырями на коленях, и сломанная оправа очков, и башмаки на микропорке не по сезону; как и раскатыстое твердое “р” в произношении. Его дом был взорван палестинцами, захватившими его квартал; они же расстреляли всю его семью. У него еле хватило на билет в Европу. Какими путями и зачем он попал в Австрию, трудно было понять: маршруты всех на свете эмигрантов объясняются не столько практической географией, сколько счедами с прошлым и надеждами на будущее, а они у каждого эмигранта слишком запутаны, чтобы разобраться в них случайному попутчику. Я узнал лишь, что работал он тут судомойщиком и на скверик выходил в свободные часы, чтобы поговорить с туристами: через них он узнавал, что происходит в мире — на газеты у него не было денег, да он и не знал, где они, французские и арабские газеты, продаются. Никуда из этого пригорода он не выезжал, а мечтал лишь об освобожденном Ливане, и еще иногда его посещали смутные мысли об эмиграции в Америку. Я был первым, с кем ему серьезно удалось разговориться о ливанских событиях. Мне ничего не оставалось, как снова взяться за газету “Таймс” и начать зачитывать подряд все заметки на ливанскую тему, разъясняя ему незнакомые слова и комментируя факты. С получасовым перерывом подошел еще один трамвай. Я не поднялся; уже охрипшим голосом я продолжал зачитывать английскую газету от корки до корки этому чудачку-ливанцу — пока совсем не стемнело.

P.S. Мой московский Рабинович так в Вене и не появился; отчаявшись ждать, я вернулся в Лондон, где нашел от него телеграмму с сообщением о том, что эмигрировать он передумал и от выездной визы отказался.

Вагрич Бахчанян

## ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ПОССОРИЛИСЬ АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ И ИВАН ДЕНИСОВИЧ

### ГЛАВА 1

#### АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ И ИВАН ДЕНИСОВИЧ

Славная бекеша у Александра Исаевича! отличнейшая! А какие смушки! Фу ты, пропасть, какие смушки! сизые с морозом! Я ставлю бог знает что, если у кого-либо найдутся такие! Взгляните, ради бога, на них, — особенно если он станет с кем-нибудь говорить, — взгляните сбоку: что это за объядение! Описать нельзя: бархат! серебро! огонь! Господи боже мой! Николай Чудотворец, угодник божий! отчего же у меня нет такой бекешы! Он сшил ее тогда еще, когда Наталия Дмитриевна не ездила в Нью-Йорк. Вы знаете Наталию Дмитриевну? Та самая, что откусила ухо у Чалидзе.

Прекрасный человек Александр Исаевич! Какой у него дом в Кавендише! Вокруг него со всех сторон навес на дубовых столбах, под навесом везде скамейки. Александр Исаевич, когда сделается слишком жарко, скинет с себя и бекешу и исподнее, сам останется в одной рубашке и отдыхает под навесом и глядит, что делается во дворе и на улице. Какие у него яблони и груши под самыми окнами! Отворите только окно — так ветви и врываются в комнату. Это все перед домом; а посмотрели бы, что у него в саду! Чего там нет! Сливы, вишни, че-

решни, огорожина всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно и кузница.

Прекрасный человек Александр Исаевич! Он очень любит дыни. Это его любимое кушанье. Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает Иловайской принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начнет кушать. Потом велит Иловайской принести чернильницу и сам, собственною рукою, сделает надпись над бумажкою с семенами: "Сия дыня съедена такого-то числа". Если при этом был какой-нибудь гость, то: "Участвовал такой-то".

Покойный судья кавендишский всегда любовался, глядя на дом Александра Исаевича. Да, домишко очень недурен. Мне нравится, что к нему со всех сторон пристроены сени и сенички, так что если взглянуть на него издали, то видны одни только крыши, посаженные одна на другую, что весьма походит на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше на губки, нарастающие на дереве. Впрочем, крыши все крыты очеретом; ива, дуб и две яблони облокотились на них своими раскидистыми ветвями. Промеж деревьев мелькают и выбегают даже на улицу небольшие окошки с резными выбеленными ставнями.

Прекрасный человек Александр Исаевич! Его знает и генерал нью-йоркский! Петро Григорьевич Григоренко, когда едет из Квинса, то всегда заезжает к нему. А протопоп отец Дудко, что живет в Ховрино, когда соберется у него человек пяток гостей, всегда говорит, что он никого не знает, кто бы так исполнял долг христианский и умел жить, как Александр Исаевич.

Боже, как летит время! уже тогда прошло более десяти лет, как он овдовел. Детей у него не было. У Иловайской есть дети и бегают часто по двору. Александр Исаевич всегда дает каждому из них или по бублику, или по кусочку дыни, или грушу. Иловайская у него носит ключи от комор и погребов; от большого же сундука, что стоит в его спальне, и от средней коморы ключ Александр Исаевич держит у себя и не любит никого туда пускать. Иловайская девка здоровая, ходит в запаске, с свежими икрами и щеками.

А какой богомольный человек Александр Исаевич! Каждый воскресный день надевает он бекешу и идет в церковь. Взошедши в нее, Александр Исаевич, раскланявшись на все

стороны, обыкновенно помещается на крылосе и очень хорошо подтягивает басом. Когда же окончится служба, Александр Исаевич никак не утерпит, чтоб не обойти всех нищих. Он бы, может быть, и не хотел заняться таким скучным делом, если бы не побуждала его к тому природная доброта.

— Здорово, небого!<sup>1</sup> — обыкновенно говорил он, отыскавши самую искалеченную бабу, в изодранном, сшитом из заплат платье. — Откуда ты, бедная?

— Я, паночку, из Аляски пришла: третий день, как не пила, не ела, выгнали меня собственные дети.

— Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда?

— А так, паночку, милостыни просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб.

— Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба? — обыкновенно спрашивал Александр Исаевич.

— Как не хотеть! голодна, как собака.

— Гм! — отвечал обыкновенно Александр Исаевич. — Так тебе, может, и мяса хочется?

— Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.

— Гм! разве мясо лучше хлеба?

— Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуете, все хорошо.

При этом старуха обыкновенно протягивала руку.

— Ну, ступай же с богом, — говорил Александр Исаевич. — Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью! — и, обратившись с такими расспросами к другому, к третьему, наконец возвращается домой, или заходит выпить рюмку водки к соседу Ивану Денисовичу, или к судье, или к шерифу.

Александр Исаевич очень любит, если ему кто-нибудь делает подарок или гостинец. Это ему очень нравится.

Очень хороший также человек Иван Денисович. Его двор возле двора Александра Исаевича. Они такие между собой приятели, каких свет не производил. Владимир Емельянович Максимов, который до сих пор еще ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами и обедает по воскресным дням у "Максима", обыкновенно говорил, что Ивана Денисовича и Александра Исаевича сам черт связал веревочкой. Куда один, туда и другой плетется.

---

1. Бедная (прим. В.А. Бахчаняна).

Иван Денисович никогда не был женат. Хотя поговаривали, что он женился, но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Денисовича и могу сказать, что он даже не имел намерения жениться. Откуда выходят все эти сплетни? Так, как пронесли было, что Иван Денисович родился с хвостом назади. Но эта выдумка так нелепа и вместе гнусна и неприлична, что я даже не почитаю нужным опровергать пред просвещенными читателями, которым, без всякого сомнения, известно, что у одних только ведъм, и то у весьма немногих, есть назади хвост, которые, впрочем, принадлежат более к женскому полу, нежели к мужескому.

Несмотря на большую приязнь, эти редкие друзья не совсем были сходны между собою. Лучше всего можно узнать характеры их из сравнения: Александр Исаевич имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит! Это ощущение можно сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцем по вашей пятке. Слушаешь, слушаешь — и голову повесишь. Приятно! чрезвычайно приятно! как сон после купанья. Иван Денисович, напротив, больше молчит, но зато если влепит словцо, то держись только: отбреет лучше всякой бритвы. Александр Исаевич худощав и высокого роста; Иван Денисович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Александра Исаевича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Денисовича на редьку хвостом вверх. Александр Исаевич только после обеда лежит в одной рубашке под навесом; ввечеру же надевает бекешу и идет куда-нибудь — или к городовому супермаркету, куда он поставляет муку, или в поле ловить перепелов. Иван Денисович лежит весь день на крыльце, — если не слишком жаркий день, то обыкновенно выставив спину на солнце, — и никуда не хочет идти. Если вздумается утром, то пройдет по двору, осмотрит хозяйство, и опять на покой. В прежние времена зайдет, бывало, к Александру Исаевичу. Александр Исаевич чрезвычайно тонкий человек и в порядочном разговоре никогда не скажет неприличного слова и тотчас обидится, если услышит его. Иван Денисович иногда не обережется; тогда обыкновенно Александр Исаевич встает с места и говорит: "Довольно, довольно, Иван Денисович; лучше скорее на солнце, чем говорить такие богопротивные слова". Александр Исаевич очень сердится, если ему попадется в борщ

муха: он тогда выходит из себя — и тарелку кинет, и хозяину достанется. Иван Денисович чрезвычайно любит купаться и, когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар, и очень любит пить чай в такой прохладе. Александр Исаевич чрезвычайно любопытен. Боже сохрани, если что-нибудь начнешь ему рассказывать, да не доскажешь! Если ж чем бывает недоволен, то тотчас дает заметить это. По виду Ивана Денисовича чрезвычайно трудно узнать, доволен ли он, или сердит; хоть и обрадуется чему-нибудь, то не покажет. Александр Исаевич несколько боязливого характера. У Ивана Денисовича, напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строением. У Александра Исаевича большие выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву ижицу; у Ивана Денисовича глаза маленькие, желтоватые, совершенно пропадающие между густых бровей и пухлых щек, и нос в виде спелой сливы. Александр Исаевич если попотчивает вас табаком, то всегда наперед лизнет крышку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем и, поднесши, скажет, если вы с ним знакомы: "Смею ли просить, государь мой, об одолжении?"; если же незнакомы, то: "Смею ли просить, государь мой, не имея чести знать чина, имени и отчества, об одолжении?" Иван же Денисович дает вам прямо в руки рожок свой и прибавит только: "Одолжайтесь". Как Александр Исаевич, так и Иван Денисович очень не любят блох; и оттого ни Александр Исаевич, ни Иван Денисович никак не пропустят жиды с товарами, чтобы не купить у него эликсира в разных баночках против этих насекомых, выбравив наперед его хорошенько за то, что он исповедует еврейскую веру.

Впрочем, несмотря на некоторые несходства, как Александр Исаевич, так и Иван Денисович прекрасные люди.

## ГЛАВА 2

### ИЗ КОТОРОЙ МОЖНО УЗНАТЬ, ЧЕГО ЗАХОТЕЛОСЬ АЛЕКСАНДРУ ИСАЕВИЧУ, О ЧЕМ ПРОИСХОДИЛ РАЗГОВОР МЕЖДУ АЛЕКСАНДРОМ ИСАЕВИЧЕМ И ИВАНОМ ДЕНИСОВИЧЕМ И ЧЕМ ОН ОКОНЧИЛСЯ

Утром, это было в июле месяце, Александр Исаевич лежал

под навесом. День был жарок, воздух сух и переливался струями. Александр Исаевич успел уже побывать за городом у косарей и на хуторе, успел расспросить встретившихся мужиков и баб, откуда, куда, как и почему; уходился страх и прилег отдохнуть. Лежа, он долго оглядывал коморы, двор, сарай, кур, бегавших по двору, и думал про себя: "Господи, Боже мой, какой я хозяин! Чего у меня нет? Птицы, строение, амбары, всякая прихоть, водка перегонная, настоящая; в саду груши, сливы; в огороде мак, капуста, горох... Чего ж еще нет у меня?.. Хотел бы я знать, чего нет у меня?"

Задавши себе такой глубокомысленный вопрос, Александр Исаевич задумался; а между тем глаза его отыскивали новые предметы, перешагнули через забор в двор Ивана Денисовича и занялись невольно любопытным зрелищем. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развешивала его на протянутой веревке выветривать. Скоро старый мундир с изношенными обшлагами протянул на воздух рукава и обнимал парчовую кофту, за ним высунулся дворянский с гербовыми пуговицами, отъеденным воротником; белые казимировые панталоны с пятнами, которые когда-то натягивались на ноги Ивана Денисовича и которые можно теперь натянуть разве на его пальцы. За ними скоро повисли другие, в виде буквы Л. Потом синий казацкий бешмет, который шил себе Иван Денисович назад тому лет двадцать, когда готовился было вступить в милицию и отпустил было уже усы. Наконец, одно к одному, выставилась шпага, походившая на шпич, торчавший в воздухе. Потом завертелись фалды чего-то похожего на кафтан травяно-зеленого цвета, с медными пуговицами величиною в пятак. Из-за фалд выглянул жилет, обложенный золотым позументом, с большим вырезом наперед. Жилет скоро закрыла старая юбка покойной бабушки, с карманами, в которые можно было положить по арбузу. Все, мешаясь вместе, составляло для Александра Исаевича очень занимательное зрелище, между тем как лучи солнца, охватывая местами синий или зеленый рукав, красный обшлаг или часть золотой парчи, или играя на шпажном шпиче, делали его чем-то необыкновенным, похожим на тот вертеп, который развозят по хуторам кочующие пройдохи, — особенно когда толпа народа, тесно сдвинувшись, глядит на царя Ирода в золотой короне или на Антона, ведущего козу; за вертепом визжит скрипка; цыган бренчит руками по гу-

бам своим вместо барабана, а солнце заходит, и свежий холод южной ночи незаметно прижимается сильнее к свежим плечам и грудям полных хуторянок.

Скоро старуха вылезла из кладовой, кряхтя и таща на себе старинное седло с оборванными стремянами, с истертыми кожаными чехлами для пистолетов, с чепраком когда-то алого цвета, с золотым шитьем и медными бляхами.

“Вот глупая баба! — подумал Александр Исаевич, — она еще вытащит и самого Ивана Денисовича проветривать!”

И точно: Александр Исаевич не совсем ошибся в своей догадке. Минут через пять воздвигнулись нанковые шаровары Ивана Денисовича и заняли собою почти половину двора. После этого она вынесла еще шапку и ружье.

“Что ж это значит? — подумал Александр Исаевич, — я не видел никогда ружья у Ивана Денисовича. Что ж это он? стрелять не стреляет, а ружье держит! На что ж оно ему? А вещица славная! Я давно себе хотел достать такое. Мне очень хочется иметь это ружьецо; я люблю позабавиться ружьецом”.

— Эй, баба, баба! — закричал Александр Исаевич, кивая пальцем.

Старуха подошла к забору

— Что это у тебя, бабуся, такое?

— Видите сами, ружье.

— Какое ружье?

— Кто его знает, какое! Если б оно было мое, то я, может быть, и знала бы, из чего оно сделано; но оно панское.

Александр Исаевич встал и начал рассматривать ружье со всех сторон и позабыл дать выговор старухе за то, что повесила его вместе с шпагою проветривать.

— Оно, должно думать, железное, — продолжала старуха.

— Гм! железное. Отчего ж оно железное? — говорил про себя Александр Исаевич. — А давно оно у пана?

— Может быть, и давно.

— Хорошая вещица! — продолжал Александр Исаевич. — Я выпрошу его. Что ему делать с ним? Или променяюсь на что-нибудь. Что, бабуся, дома пан?

— Дома.

— Что он? лежит?

— Лежит.

— Ну, хорошо; я приду к нему.

Александр Исаевич оделся, взял в руки суковатую палку от собак, потому что в Кавендише гораздо более их попадает-ся на улице, нежели людей, и пошел.

Двор Ивана Денисовича хотя был возле двора Александра Исаевича и можно было перелезть из одного в другой через плетень, однако ж Александр Исаевич пошел улицею. С этой улицы нужно было перейти в переулочек, который был так узок, что если случалось встретиться в нем двум повозкам в одну лошадь, то они уже не могли разъехаться и оставались в таком положении до тех пор, покамест, схвативши за задние колеса, не вытаскивали их каждую в противную сторону на улицу. Пешеход же убирался, как цветами, репейниками, росшими с обеих сторон возле забора. На этот переулочек выходили с одной стороны сарай Александра Исаевича, с другой — амбар, ворота и голубятня Ивана Денисовича.

Александр Исаевич подошел к воротам, загремел щеколдой: изнутри поднялся собачий лай; но разношерстная стая скоро побежала, помахивая хвостами, назад, увидевши, что это было знакомое лицо. Александр Исаевич перешел двор, на котором пестрели индейские голуби, кормимые собственноручно Иваном Денисовичем, корки арбузов и дынь, местами зелень, местами изломанное КОЛЕСО, или обруч от бочки, или валявшийся мальчишка в запачканной рубашке, — картина, которую любят живописцы! Тень от развешанных платьев покрывала почти весь двор и сообщала ему некоторую прохладу. Баба встретила его поклоном и, зазевавшись, стала на одном месте. Перед домом охорашивалось крылечко с навесом на двух дубовых столбах — ненадежная защита от солнца, которое в это время в Вермонте не любит шутить и обливает пешехода с ног до головы жарким потом. Из этого можно было видеть, как сильно было желание у Александра Исаевича приобрести необходимую вещь, когда он решился выйти в такую пору, изменив даже своему всегдашнему обыкновению прогуливаться только вечером.

Комната, в которую вступил Александр Исаевич, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты, и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставне, принял радужный цвет и, ударяясь в противостоящую стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очеретяных крыш, деревьев и развешанного

на дворе платья, все только в обращенном виде. От этого всей комнате сообщался какой-то чудный полусвет.

— Помоги бог! — сказал Александр Исаевич.

— А! здравствуйте, Александр Исаевич! — отвечал голос из угла комнаты. Тогда только Александр Исаевич заметил Ивана Денисовича, лежащего на разостланном на полу ковре. — Извините, что я перед вами в натуре.

Иван Денисович лежал безо всего, даже без рубашки.

— Ничего. Почивали ли вы сегодня, Иван Денисович?

— Почивал. А вы почивали, Александр Исаевич?

— Почивал.

— Так вы теперь и встали?

— Я теперь встал? Христос с вами, Иван Денисович! как можно спать до сих пор! Я только что приехал из хутора. Прекрасные жита по дороге! восхитительные! и сено такое рослое, мягкое, злачное!

— Горпина! — закричал Иван Денисович, — принеси Александру Исаевичу водки да пирогов со сметаной.

— Хорошее время сегодня.

— Не хвалите, Александр Исаевич. Чтоб его черт взял! некуда деваться от жару.

— Вот-таки нужно помянуть черта. Эй, Иван Денисович! Вы вспомните мое слово, да уже будет поздно: достанется вам на том свете за богопротивные слова.

— Чем же я обидел вас, Александр Исаевич? Я не тронул ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чем я вас обидел.

— Полно уже, полно, Иван Денисович!

— Ей-богу, я не обидел вас, Александр Исаевич!

— Странно, что перепела до сих пор нейдут под дудочку.

— Как вы себе хотите, думайте что вам угодно, только я вас не обидел ничем.

— Не знаю, отчего они нейдут, — говорил Александр Исаевич, как бы не слушая Ивана Денисовича. — Время ли не пришло еще... только время, кажется, такое, какое нужно.

— Вы говорите, что жита хорошие?

— Восхитительные жита, восхитительные!

За сим последовало молчание.

— Что это вы, Иван Денисович, платье развешиваете? — наконец сказал Александр Исаевич.

— Да, прекрасное, почти новое платье загноила проклятая

баба. Теперь проветриваю; сукно тонкое, превосходное, только вывороти — и можно снова носить.

— Мне там понравилась одна вещица, Иван Денисович.

— Какая?

— Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлено выветривать вместе с платьем? — Тут Александр Исаевич поднес табак. — Смею ли просить об одолжении?

— Ничего, одолжайтесь! я понюхаю своего! — При этом Иван Денисович пощупал вокруг себя и достал рожок. — Вот глупая баба, так она и ружье туда же повесила! Хороший табак жид делает в Бруклине. Я не знаю, что он кладет туда, а такое душистое! На канупер немножко похоже. Вот возьмите, разжуйте немножко во рту. Не правда ли, похоже на канупер? Возьмите, одолжайтесь!

— Скажите, пожалуйста, Иван Денисович, я все насчет ружья: что вы будете с ним делать? ведь оно вам не нужно.

— Как не нужно? а случится стрелять?

— Господь с вами, Иван Денисович, когда же вы будете стрелять? Разве по втором пришествии. Вы, сколько я знаю и другие запомнят, ни одной еще качки<sup>1</sup> не убили, да и ваша натура не так уже господом богом устроена, чтоб стрелять. Вы имеее осанку и фигуру важную. Как же вам таскаться по болотам, когда ваше платье, которое не во всякой речи прилично назвать по имени, проветривается и теперь еще, что же тогда? Нет, вам нужно иметь покой, отдохновение. (Александр Исаевич, как упомянуто выше, необыкновенно живописно говорил, когда нужно было убеждать кого. Как он говорил! Боже, как он говорил!) Да, так вам нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мне!

— Как можно! это ружье дорогое. Таких ружьев теперь не сыщете нигде. Я, еще как собирался в милицию, купил его у Турчина. А теперь бы то так вдруг и отдать его? Как можно? это вещь необходимая!

— На что же она необходимая?

— Как на что? А когда нападут на дом разбойники... Еще бы не необходимая. Слава тебе господи! теперь я спокоен и не боюсь никого. А отчего? Оттого, что я знаю, что у меня стоит в коморе ружье.

---

1. То есть утки. (Прим. В.А. Бахчаняна)

— Хорошее ружье! Да у него, Иван Денисович, замок испорчен.

— Что ж, что испорчен? Можно починить. Нужно только смазать конопляным маслом, чтоб не ржавел.

— Из ваших слов, Иван Денисович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни.

— Как же это вы говорите, Александр Исаевич, что я вам не оказываю никакой приязни? Как вам не совестно! Ваши волы пасутся на моей степи, и я ни разу не занимал их. Когда едете в Вашингтон, всегда просите у меня повозки, и что ж? разве я отказал когда? Ребятишки ваши перелезают чрез плетень в мой двор и играют с моими собаками, — я ничего не говорю: пусть себе играют, лишь бы ничего не трогали! пусть себе играют!

— Когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся.

— Что ж вы дадите мне за него? — При этом Иван Денисович облокотился на руку и поглядел на Александра Исаевича.

— Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил в сажу. Славная свинья! Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят.

— Как же вы, в самом деле, Александр Исаевич, даете за ружье черт знает что такое: свинью!

— Отчего же она — черт знает что такое, Иван Денисович?

— Как же, вы бы сами посудили хорошенько. Это-таки ружье, вещь известная; а то — черт знает что такое: свинья! Если бы не вы говорили, я бы мог это принять в обидную для себя сторону.

— Что ж нехорошего заметили вы в свинье?

— За кого же, в самом деле, вы принимаете меня? чтоб я свинью...

— Садитесь, садитесь! не буду уже... Пусть вам остается ваше ружье, пускай себе сгниет и перержавеет, стоя в углу в коморе, — не хочу больше говорить о нем.

После этого последовало молчание.

— Говорят, — начал Александр Исаевич, — что три короля объявили войну президенту нашему.

— Да, говорил мне Петро Григорьевич. Что ж это за война? и отчего она?

— Наверное не можно сказать, Иван Денисович, за что она.

Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру.

Вишь, дурни, чего захотели! — произнес Иван Денисович, приподнявши голову.

— Вот видите, а президент наш и объявил им за то войну. Нет, говорит, примите вы сами веру Христову!

— Что ж? ведь наши побьют их, Александр Исаевич!

— Побьют. Так не хотите, Иван Денисович, менять ружьеца?

— Мне странно, Александр Исаевич: вы, кажется, человек известный ученостью, а говорите как недоросль. Что бы я за дурак такой...

— Садитесь, садитесь. Бог с ним! пусть оно себе околет; не буду больше говорить!..

В это время принесли закуску.

Александр Исаевич выпил рюмку и закусил пирогом со сметаной.

— Слушайте, Иван Денисович. Я вам дам, кроме свиньи, еще два мешка овса, ведь овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес.

— Ей-богу, Александр Исаевич, с вами говорить нужно, гороху наевшись. (Это еще ничего, Иван Денисович и не такие фразы отпускает). Где видано, чтобы кто ружье променял на два мешка овса? Небось бекеша своей не поставите.

— Но вы позабыли, Иван Денисович, что я и свинью еще даю вам.

— Как! два мешка овса и свинью за ружье?

— Да что ж, разве мало?

— За ружье?

— Конечно, за ружье.

— Два мешка за ружье?

— Два мешка не пустых, а с овсом; а свинью позабыли?

— Поцелуйтесь с своею свиньею, а коли не хотите, так с чертом!

— О! вас зацепи только! Увидите: нашпигуют вам на том свете язык горячими иголками за такие богомерзкие слова. После разговору с вами нужно и лицо и руки умыть и самому окуриться.

— Позвольте, Александр Исаевич: ружье вещь благородная, самая любопытная забава, притом и украшение в комнате приятное...

— Вы, Иван Денисович, разносились так с своим ружьем, как дурень с писаною торбою, — сказал Александр Исаевич с досадою, потому что действительно начинал уже сердиться.

— А вы, Александр Исаевич, настоящий гусак.<sup>1</sup>

Если бы Иван Денисович не сказал этого слова, то они бы поспорили между собою и разошлись, как всегда, приятелями; но теперь произошло совсем другое. Александр Исаевич весь вспыхнул.

— Что вы такое сказали, Иван Денисович? — спросил он, возвысив голос.

— Я сказал, что вы похожи на гусака, Александр Исаевич!

— Как же вы смели, сударь, позабыв и приличие и уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем?

— Что ж тут поносного? Да чего вы, в самом деле, так размахались руками, Александр Исаевич?

— Я повторяю, как вы осмелились, в противность всех приличий, назвать меня гусаком?

— Начхать я вам на голову, Александр Исаевич! Что вы так раскудахтались?

Александр Исаевич не мог более владеть собою: губы его дрожали; рот изменил обыкновенное положение ижицы, а сделался похожим на О; глазами он так мигал, что сделалось страшно. Это было у Александра Исаевича чрезвычайно редко. Нужно было для этого его сильно рассердить.

— Так я ж вам объявлю, — произнес Александр Исаевич, — что я знать вас не хочу!

— Большая беда! ей-богу, не заплачу от этого! — отвечал Иван Денисович.

Лгал, лгал, ей-богу лгал! ему очень было досадно это.

— Нога моя не будет у вас в доме.

— Эге-ге! — сказал Иван Денисович, с досады не зная сам, что делать, и против обыкновения, встав на ноги. — Эй, баба, хлопче! — При сем показалась из-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчик, запутанный в длинный и широкий сюртук. — Возьмите Александра Исаевича за руки да выведите его за двери!

— Как! Дворянина? — закричал с чувством достоинства и

1. То есть гусь-самец. (Прим. В.А. Бахчаняна)

негодования Александр Исаевич. — Осмелюсь только! подступите! Я вас уничтожу с глупым вашим паном! Ворон не найдет места вашего! (Александр Исаевич говорил необыкновенно сильно, когда душа его бывала потрясена).

Вся группа представляла сильную картину: Иван Денисович, стоявший посреди комнаты в полной красоте своей без всякого украшения! Баба, разинувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную, исполненную страха мину! Александр Исаевич с поднятою вверх рукою, как изображались римские трибуны! Это была необыкновенная минута! спектакль великолепный! И между тем только один был зрителем: это был мальчик в неизмеримом сюртуке, который стоял довольно покойно и чистил пальцем свой нос.

Наконец Александр Исаевич взял шапку свою.

— Очень хорошо поступаете вы, Иван Денисович, прекрасно! Я это припомню вам.

— Ступайте, Александр Исаевич, ступайте! да глядите, не попадитесь мне: а не то я вам, Александр Исаевич, всю морду побую!

— Вот вам за это, Иван Денисович! — отвечал Александр Исаевич, выставив ему кукиш и хлопнув за собой дверь, которая с визгом захрипела и отворилась снова.

Иван Денисович показался в дверях и что-то хотел присокупить, но Александр Исаевич уже не оглядывался и летел со двора.

●

**О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО  
ПОСЛЕ ССОРЫ  
АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА С ИВАНОМ ДЕНИСОВИЧЕМ,  
МОЖНО УЗНАТЬ В СОБРАНИИ СОЧИНЕНИЙ  
Н. В. ГОГОЛЯ,  
ИЗДАННОМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 1959 ГОДУ,  
ТОМ ВТОРОЙ,  
СТРАНИЦЫ 210—245.**

●

Михаил Айзенберг

## ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

День, когда в воздухе носится  
особенно много молекул мрака.  
Я выхожу на прогулку по Чистым прудам  
Там бы и жить.  
Серый патруль у стекляшки проводит опрос  
длинноволосых.

Осень — не осень, весна.

Смутное время.

Подбросить, выронить,  
и не покатится, не зазвенит.

Канет.

Звук пробивается сквозь шумовой  
оотлив.

Гул голосов, окликания, шорох.

Что там гудит?

Там, наверху?



Из чужого стакана глотнув тайком,  
принимаешь на вечер, на день, на два  
дорогой, неизвестный тебе закон,  
по которому горечь всегда права.

И гудят лихорадка, разброд, загул.  
И чумная свобода, как та метла,  
оставляет только чудесный гул,  
память вычистив дотла.

Оттого-то, наверно, за сотни раз  
не успел привыкнуть, себя забыв,  
к теплой жажде из карих глаз,  
к шалой искре из голубых.

В кочевом шалмане, куда я вхож,  
воровски стараюсь урвать свое:  
Настоящей жизни слепую дрожь  
И свободы отравленное питье.

## МЫ ОБА

### 1

Рекрутируя из неизвестных лиц  
блиц-турнир. Короче, сведя их вместе —  
трех друзей, шестерых девиц  
с восемнадцатью на подъезде,  
Самому исчезнуть. Игра с шестью  
вариантами (всё впустую),  
чтобы всех под одну подвести статью.  
Я устал и больше не протестую.

### 2.

Я неловок в денежных единицах.  
Признаюсь, политик неважный. Каюсь.  
Виноват: разрушена вся грибница,  
на которой вырос я, не сдвигаясь.  
Если плыл, то как на большом пароме,  
в тесноте великой. Немного с краю.  
Я хочу припомнить, глаза закрою.  
Виноват, я жил в караван-сараях.

3.

Нет, легко сказать, а поди достань  
до слепых глубин, до границы стоячих вод,  
где кольцо ликующих рыбьих стай  
наблюдатель не застаёт,  
где один перекачивается по дну  
искалеченный батискаф.  
И выпускает фосфорную тишину  
сердце, сдавленное в тисках.

4.

Вот когда мы научимся щебетать,  
на гитаре играть,  
пить коктейли, стоять анфас,  
по ролям разучим чужую статью,  
чтобы корчилась вместо нас,

и когда получится без помех  
отрываться одним прыжком,  
вот тогда и пустятся снег и смех  
золотым лететь перышком.

•••

Поздним вечером  
Вечером меченым  
Вечером вспученным  
Переулочком неизученным  
Ток-ток дождь и дождь впереди  
Под ногами поток  
Моссовет отменил такси  
Плащ промок. Зарядил на год.  
Страшный частник, живой огонек,  
старший чайник — притормози!  
Ночью выйти с дырой в груди  
Не расскажешь, как светится переход  
Как тоска пломбирует рот

•••

Я надеялся, что речь поведет меня сама.  
Я надеялся, что мысли,  
нарисованные чисто,  
станут ветром у реки.  
Как верхи в конце регистра —  
И легки, и глубоки.  
Я надеялся, что ветер,  
завербованный на праздник  
продолжения вещей,  
станет чище и опасней,  
как пословица ничей.  
Так по молодости мило  
получался этот фокус:  
то из шапки голубь мира,  
то из пепельницы Логос.  
И откуда что бралось.  
От привязчивой погудки,  
от задумчивой погодки  
и от запаха волос.  
Век живу и все надеюсь.  
Боже, ну куда я денусь.  
Как надеяться, что опыт  
Принесет забытый ключ?  
И, приманивая Музу  
На кивок, на свист, на корку,  
Скажешь: милый, это дичь.



Ты послушай вот,  
что тебе скажу —  
говорит душа, —  
я который год  
за тобой слежу,  
на счету держа  
(говорит душа).  
А узнала лишь,  
как ты плохо спишь,  
как ты воду пьешь.  
Ешь да пьешь, да себя казнишь.

О, господин,  
не живи один! —  
Пропадешь.

Говорю душе:  
Вон от той черты  
до вон той черты  
никогда уже  
не ходить гурьбой.  
Только я да ты  
(говорю душе).  
Только мы с тобой.  
Не беда, не суть,  
что сжимает грудь,  
духотой грозя.  
И хочу сказать  
"отпусти, забудь",  
а уже нельзя.



Поделенный на бледный верх  
И на темный низ,  
Оглянись на всех  
и, сходя на визг,  
расскажи свое содержимое.  
Оно достаточно растяжимое.  
Было младшее старшее.  
Было бывшее ставшее.  
Плачет бывшее, став небывшим.  
Исчезать начинает.  
Как твое "ничего"? чем дышит?  
Как оно поживает?  
Как-то в общем, почти не очень.  
Где-то рядом и между прочим.  
Тех, чья молодость чуть брела  
в сторону от отъезда,  
не расспрашивай, как дела.  
До сих пор им пустое место.  
Все им кисло и все им пресно.







Нет, не жить нам как все.

Взгляд сторонний, случайный вскрип.  
в поле ночном, из придорожных лип.  
Только двор проходной, дом пустой, палисадник  
на понуром ветру сохнувший за "спасибо".  
Сила нелегкая, ты бы не подкосила!  
Только с тобой, только в твоих касаньях



Зажигаются лампочки. Комнаты все полны  
Чудесами, объятьями и драками.  
Хороводят мазурики "новой волны"  
и по стенам развешивают каракули.  
Это что нам показывают?

Как волна  
опадает, и остается тина?  
Или это обрывки дурного сна  
в мир выталкивает картина?  
И в каком-то очерке, всех бледней,  
Бесконечно тянущемся к изъяну,  
узнается сонная явь слепней,  
прозревающих пасмурную поляну.

## НА РАЗНЫЕ ГОЛОСА

Надо мною ворон кружит,  
И со мною ворон дружит  
дружбой вечной кочевой,  
бесконечной бечевой.

Тихо-тихо,  
долго-долго  
рассыпается картонка.  
И другое измеренье  
выворачивает складки

ненадежного жилья.  
Муха села на варенье  
и облизывает лапки.  
Вот и я.  
Лист желтеет, лес чернеет,  
день холодный цепенеет.  
А вдали все тот же ворон  
Сам себе, но как бы хором  
распевает "Сулико",  
посылает далеко.

"Шел бы ты куда подальше.  
Шел бы ты сюда поближе.  
Подходи же, наливай же.  
Не смущайся, подходи же".

Только нищий не подсуден.  
Я приглядываюсь к людям,  
Остающимся людьми.  
Понимаешь, мне важна  
несмешная ворожба.  
Несподручно, несподручно мне, пойми.  
В темноте сияют пятна.  
Все без подписи понятно.  
Все прозрачно как слюда,  
будь ты слеп на оба глаза.  
А теперь смотри сюда:  
Это крестик. Знак отказа.  
Подпись тайного суда.

"Теплых, сонных не буди.  
Слабых сердцем не щади  
Не щади судьбу с оглядкой  
Не щади любовь украдкой  
Пусть они пройдут как дым  
По заслугам будет им".



Андрей Битов

## "ТЫ ОДИН МНЕ ПОДДЕРЖКА И ОПОРА..."

(Из стихотворений в критике)

### Аннотация

"Словарь эпитетов русского литературного языка", "Наука", 1979...

Трудно заподозрить составителей в чем-либо, кроме добросовестности. Не знаю, какие у них были методы подсчета употребимости тех или иных слов. Безусловно, какие-то были. По возможности точные. Научные. В длинном столбце эпитетов изредка попадаются в скобочках примечания типа: (поэт.) — поэтический, (шутл.) — шутливый или (устар.) — устаревший. Так вот — устар...

Из 28 эпитетов к слову ДОМ "устар" — три: отчий, добропорядочный и честный. Причем, добропорядочный дом даже больше, чем "устар" — он "устар. и шутл."

Из нескольких сот эпитетов к слову РАБОТА устар — два: духовная и изрядная.

Из 58 эпитетов к слову МЕСТО устар — одно лишь: живое.

Из 75 — к слову СМЫСЛ устар только — существенный.

Что за слово однако УСТАР — и устал, и умер!

Устар "горе отчаянное" и "лето плодоносное" — устар.

Устар "деньги трудные" и "страх божий" — устар.

Устар "опыт фамильный" и "лоб возвышенный" — устар.

Устар "ум хладный", но и "ум мятежный" — устар.

Устар "мысль прекраснодушная", но и "мысль храбрая" — устар.

Устар "надежда вольнолюбивая", но и "надежда конечная" — устар.

РАДОСТЬ устарела и быстротечная, и забывчивая, и легкокрылая, и лучезарная, и лучистая, и нищенская, и святая.

Зато ПЫТКА не устарела и устаревшая: ни дьявольская, ни зверская, ни изуверская, ни инквизиторская, ни лютая, ни средневековая, ни чудовищная.

Может, потому, что устарело само слово ПЫТКА?.. Так к слову СОВЕСТЬ вы не найдете ни одного эпитета, потому что слова этого нет в словаре вообще.

Устар МИР — благодатный, благодетельный, благополучный, блаженный.

Устар МИР — неправедный и святой.

Словарь открывается "авторитетом безграничным" и завершается "яростью удушливой и четкой".



Милая Марья Васильевна!

Мне ли говорить Вам, что все авторы неблагодарные свиньи?! Ложек дегтя, без которых не обошлась ни одна (!) моя публикация в "Синтаксисе", хватило бы на целую бочку дегтя. В 21-ой книжке журнала сразу три ложки. Опушена сноска к материалу о Гоголе: "Лекция, прочитанная в Лондонской Школе Славяноведения в 1985 г.". На стр. 178 вместо "Гоголь был первым русским прозаиком..." напечатано "Гоголь был первым украинским прозаиком...". На стр. 179 вместо "прозаик Василь Стефаник" напечатано "поэт Василь Стефаник".

Не могу молчать.

Нежно хрюкаю,  
Ваш И. Померанцев



Милая М.В.

Текст доклада в Лиссабоне уже в Москве. Пожалуйста, крупным шрифтом извинитесь за ДВУЯЗЫКОЕ искажение названия! Для предотвращения именно таких ляпсусов автору и присылают гранки.

Ваш Зиновий Зиник



Дорогие И.П., З.З., А.Ж., Л.Р., А.С. и др.!

Мне ли говорить вам, что редакторы — сволочи, а редакции — вертепы, где теряются рукописи, маринуются рассказы, а тексты, проходя сквозь типографскую машину, обрастают опечатками?

Все так. Но хотя я согласна скрепя сердце сообщить читателям, что Н.В. Гоголь по-прежнему остается русским писателем, а Василь Стефаник — украинским поэтом (см. "Синтак-

сис" 21), Солженицын и Достоевский — титаны, а вовсе не тираны (как то было напечатано в "Синтаксисе" 19, стр. 57, 8 строка снизу), Синявский называется "Андреем", а не "Андеем" ("Синтаксис" 2), а общину русских писателей в эмиграции надлежит считать "двуязычным меньшинством", а не "двуязычным", как мы напечатали ("Синтаксис" 22), тем не менее хочу сказать два слова о трудностях жизни редакции.

В опечатках есть что-то мистическое — они неистребимы. И, как известно, до конца не были побеждены даже в ту пору, когда за опечатки давали срок как за контрреволюцию. В наши же вегетарианские времена опечатки самозарождаются в тексте, как жизнь в стакане вина до Пастера. Даже в этом, 23 номере журнала, по вине (да и вина ли это?) нашего славного наборщика в концовку рассказа А. Жолковского "Аристократка" вдруг вкрались строки из медицинского диагноза: "Стойкий систематический бред на фоне прогрессирующей графомании и синтаксического распада речи. Нарушения в половой сфере. В госпитализации не нуждается". И разве дело только в тексте? Едва не была нарушена врачебная тайна! Катастрофу предотвратил сам автор статьи, мужественно вычитавший корректуру.

Журнал — дело коллективное. Каждый вносит в него, что может: автор — текст, редактор — отсебятину, наборщик — опечатки и хулиганку, корректор — ошибки. Можете ли вы предложить что-либо другое?

В заключение осмелюсь напомнить моим любимым авторам, что сказал И. В. Сталин А. А. Фадееву в ответ на жалобы последнего на вверенную ему армию инженеров человеческих душ. А вождь сказал следующее: "У мэня нэт для вас других писателей. Работайте с этими". Так и у нас с вами: ни других писателей, ни других редакций — не теряющих, не искажающих, не обогащающих текст опечатками — в природе не существует. Такое взаимно-безвыходное положение называется любовью.

Целую

М. В. Розанова



ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ "ВЕК XX И МИР" — МОСКВА.

Появление на страницах этого журнала интервью с теми, кого еще недавно в советской прессе называли антисоветчиками, — отрадно и закономерно. Лариса Богораз и Сергей Ковалев — люди высокого внутреннего долга и большой судьбы. Среди тех, кто вышел 25 августа 1968 года на Красную площадь, защищая перед историей честь нашей страны, была Лариса Богораз. Она — жена Анатолия Марченко, погибшего в Чистопольской тюрьме в декабре 1986 года. Сергей Ковалев — один из редакторов информационного бюллетеня «Хроника текущих событий», именно за это он провел 12 лет в лагере и ссылке.

Читатель увидит в интервью Богораз и Ковалева нравственное достоинство и убежденность.

Академик А. САХАРОВ

18 августа 1988 года

## БЕЗ БАРРИКАД

*Беседа с Ларисой БОГОРАЗ и Сергеем КОВАЛЕВИМ*

Подытоживая свои впечатления от Москвы, Президент США сказал на пресс-конференции: «И, наконец, я был тронут моими беседами с различными гражданами Советского Союза. Монахи Данилова монастыря, диссиденты и «отказники», писатели и деятели искусства, студенты и молодежь вновь доказали, что в этой стране дорожат духовными ценностями» («Известия» от 2 июня 1988 года).

Слова эти меня задел и удивили. Монахи, «отказники», комсомольцы — что у них общего? Как можно ставить их в один ряд советских граждан! Разве, например, я, будучи от природы законопослушной, не являюсь зато и более советской, чем любой диссидент?

«Это предатели Родины», — ответили мне одна домохозяйка, один корреспондент молодежного журнала и один продавец.

«Они — святые», — сказал мне один младший научный сотрудник. Что касается духовных ценностей, то что они такое, не знал решительно никто. Кроме, разумеется, Рональда Рейгана. И тогда мне оставалось обратиться с вопросом к самим диссидентам...

Корреспондент. Так кто же вы — «западники», изменники, экстремисты? Политическая оппозиция? Или и впрямь — герои?..

Лариса Богораз. Предрассудок таков: вот власть — а вот противники власти. То есть мы, правозащитники. Именно это

представление о нас бытует в прессе и в обществе. Его разделяют даже те, кто о нас хорошего мнения: вот, мол, герои, которые не жалели себя в борьбе с властью! Увы, таков образ инакомыслящего — образ, но не живые люди.

Сергей Ковалев. Когда современные «неформалы» впервые решили встретиться со мной, они обставили эту встречу полуконспиративно, со всевозможной таинственностью. При дальнейшем общении я выяснил причину этого: мы, прошедшие через суд и заключение, были для них заведомыми экстремистами, людьми, органически не способными ни к каким компромиссам. Вот и вы, наверное, думаете про себя: «Неужели за какую-то статью человека могли арестовать? Быть такого не может! Уж если за статью, то в этой статье, наверное, такого написано...»

Корр. Я могу уточнить свои чувства. Главная причина осторожности — ваши постоянные обращения за поддержкой на Запад. Это совершенно необычно для советского человека, ведь нас учат. «У советских — собственная гордость», а там за границей — враги, антисоветчики...

С. К. Да, это привычная для нас претензия — общение с иностранцами, с западными корреспондентами. Конечно, за рубежом тоже есть люди, которые делают политику и делают ее подчас недобросовестно (здесь наша официальная пресса бывает права). Но есть и огром-

ное число людей на Западе, которые умеют чувствовать чужую боль...

А. Б. Вот и наши газеты часто сообщают о разных несправедливостях на Западе. Ясное дело, такие сообщения всегда имеют в виду пропагандистскую цель. Мне она не важна, но я иногда чувствую, что информация обращена ко мне лично! А значит, и за границей есть люди, которым небезразлично, что у нас делается. Году, наверное, в 1982 я познакомилась с одним корреспондентом из Голландии. Я его спрашиваю: «У вас же своих проблем хватает — зачем вам еще наши?» Меня поразила ответ. «Я,— говорит он мне,— сам бывший участник Сопротивления и потомственный социалист: дед, бабушка, все мои родители — социалисты. То, что у вас происходит, тоже зовется социализмом. Значит, и я за это отвечаю!»

С. К. Хотите узнать, как я преодолел страх перед границей? У нас ведь тоже был этот барьер. Но вот я читаю в газетах: «Весь советский народ гневно осуждает...» — а я этого вовсе не осуждаю. Или вот, от моего имени пресса «единодушно поддерживает» решение о вводе войск в Чехословакию — а я? Раз «весь советский народ», значит, и я — а я не хочу, чтобы на мне это висело. Я думаю, может быть, если бы я была много лучше, чем я есть, случившееся не произошло бы?

И тогда я говорю «нет». Моим именем не клянчатся, говорите за себя. А я стану говорить за себя. Я хочу думать независимо, я хочу говорить собственными словами — причем тут государственная граница? Когда человек говорит то, что думает, он говорит для всех. Если это не публикуют в наших газетах, пускай публикуют в чужих.

Тут еще один важный мотив, который только сегодня начинает осознаваться, а вызревал он еще тогда, в 60-е годы: что проблемы наши, вообще говоря, глобальны, а не локальны. Что во всем мире, собственно, одни и те же проблемы.

Не бывает чисто внутренних бед! И тем более нет локальных решений для всего, чем мучаются на Востоке, на Западе, в развивающемся мире. В особенности же права человека — не «внутреннее дело» государства. Тут необходимы совместные подходы. Иначе для чего нужны были хельсинкские соглашения? И для чего вообще Устав ООН?

Когда приходило осознание всего этого, оказывалось, что говорить об этих вещах необходимо не только с властью собственного государства, но только с соотечественниками — с каждым человеком в мире. И психологическое табу,

запрещавшее «жаловаться врагу», утрачено.

А. Б. Мы обращались на Запад и с практической целью, чтобы через них обратиться к нашим согражданам. А как было иначе это сделать? Газеты не печатают. Власть не реагирует, разве что — с работы гонят...

С. К. ...А потом уже возникала другая прагматика, с политическим оттенком. Правозащитники увидели, что заступничество Запада, к сожалению, более весомо для наших властей, чем апелляция собственных граждан.

А. Б. По нашему делу — демонстрация на Красной площади в августе 1968 года — судили пятерых. Павел Литвинов, Константин Бабяцкий и я получили ссылку, потому что наши имена уже были известны. А вот двум молодым, но неизвестным на Западе людям — Дремлюго и Делоне — дали лагерный срок ровно за то же самое.

С. К. Самый яркий пример здесь — судьба Аварья Дмитриевича Сахарова. Когда иные из его соавторов давным-давно были арестованы, он ни разу даже не был допрошен. Зато под конец с Сахаровым поступали на редкость незаконно — без всякого следствия и суда, он получил бессрочное уголовное наказание в виде ссылки под фактическим домашним арестом.

А. Б. В общем, всегда удобно изобразить нас изменниками Родины за связь с границей. Но перед тем, в 40-х — 50-х годах, «изменниками» клеймили тех, кто тайно изучал подлинные произведения Ленина. Хотя это и было не так удобно, неудобства всегда преодолевались, исходя из правила: кто не с нами, тот против нас!

Корр. Вы всего лишь были не с «нами», и этого оказалось достаточно, чтобы стать «отщепенцами»?

С. К. Да. Демократическое движение 60-х — 70-х годов не было политической оппозицией, и определялось прежде всего нравственным импульсом, импульсом независимости: «Я не могу этого стерпеть. Я не могу смолчать. Если вы так делаете — делайте без меня! Я стану твердить об этом вслух, даже не рассчитывая на результат». Какая здесь политика? Политическая акция всегда рассчитана на практический результат. Кстати, в отношениях с неформалами наши роли быстро переменялись. Эти молодые ребята, еще недавно проявлявшие при виде нас такую опасливость, сегодня ставят чисто политические вопросы. В сравнении с нами, они — политики, чуть ли не революционеры. Мы не были ни тем, ни другим.

Корр. До сих пор? Разве то, чем вы занимались, не было видом политической деятельности?

С. К. Я искренне надеюсь, что нет. Впрочем — смотря что называть политической. Я помню время, когда «политической» было посчитать количество хромосом в клетке!..

Ядром нашего демократического движения было обращение к праву. К философии права, к языку права. И на этом пути были сделаны некоторые открытия, новые для российской интеллигенции. Интеллигенция вечно отличала себя от народа и вечно ощущала из-за этого вину перед ним. Шла борьба, и в этой борьбе интеллигент считал своим долгом выбрать место у баррикады.

Но как совместить этот выбор с независимым взглядом на вещи, свойственным интеллигенту? Как взглянуть «поверх барьеров», не отказываясь от гражданской активности? Интеллигенция в России не находила иных путей, кроме безоглядного участия в сватке. Среди революционеров, среди политиков, среди активных противников власти всегда оказывались самые нравственно неравнодушные. Но они выбирали место за баррикадой — и отрекались от всякой независимости. А дальше их вела логика борьбы, трудсовместимая с бескорыстными поисками истины.

Мы отказались от выбора стороны. Мы выбрали независимость.

А. Б. Инакомыслие не имели цели выработать новую идеологическую или политическую доктрину, переменить правительство и государственный строй. «Уважайте свои собственные законы!» Это говорил еще в 60-е годы Александр Есенин-Вольпин, участник нашего движения. Он хорошо знал законы. А вот писатель Андрей Донатович Синявский, арестованный в 1965 году вместе с поэтом Юлием Даниэлем, не знал законов. Глубоко внутри его было чувство: «Я имею право быть другим». Он так и говорил судьям: «Вы судите меня за то, что я — другой». Это другая форма того же правосознания, той же философии независимости. Или рабочий Анатолий Марченко. У него было природное чувство, что гласность — основа общественной жизни. И он написал книгу, не спрашивая: разрешено это или нет.

Корр. Разве занятие политической деятельностью противоправно?

С. К. Разумеется, нет: право на политическую деятельность — одно из прав человека. Но лично мне и некоторым из хорошо мне известных правозащитников свойственно неистребимое интуитивное

отвращение к политике. Ведь политическая борьба — это борьба за власть. А что значила борьба за власть в условиях, которые нас окружали, вы легко представите. Заговоры плести? Звать к революции, утверждая, будто я «знаю, как надо»? Ведь на революции не подыметь вначе. Помните, А. Галич пел: «Не бойся тюрьмы, не бойся сумы, не бойся мора и глады, а бойся единственно только того, кто скажет: я знаю, как надо!»

Вдумайтесь, что значит любая революция с точки зрения права? Некто обиженный, угнетенный или просто считающий себя таковым, устанавливает справедливость вокруг себя. Как он это делает? Он сам судья, сам и судебный исполнитель. Дискуссионный спор — нет! Нет арбитра! Нет места праву вообще! И тут возникает вопрос, есть ли альтернатива такому хоау вещей? Оказывается, альтернатива есть. Альтернатива — это правовое государство. Это государство, в котором закон неизмеримо выше власти. Власть так же подсуна закону, как и любой гражданин. Гражданин и государство — просто равноправные стороны в конфликте, который решается независимым арбитром от имени закона, властью закона.

А. Б. Создание правового государства означает смену типа общественного развития. Вместо революционного пути — эволюционный, путь реформ. Путь компромисса, при котором интересы разных групп всякий раз соразмеряются и приводятся к некоему равновесию.

Это далеко от реальности? Да. Но путь к этому я видела ясно. Я точно знаю, что мне необходима независимость, и я знаю, что имею на это право. Это записано и у нас в Конституции. Это записано в международных актах. Но даже если б не было записано — что с того? Не может быть такого закона, который может лишить меня этого моего свойства — быть независимой. Как нельзя меня сделать выше или ниже узком правительства. Если я стану просить у государства: дайте мне мое право, — оно, скорее всего, не даст. Может не дать. И почему оно вообще должно мне что-то давать?

Я не требую, не прошу, не жалуюсь — я говорю, мне это необходимо. Я не могу иначе. И за это я готова платить дорогую цену.

Корр. Вы полагаете, путь к правовому государству лежит через личную независимость каждого гражданина? Путь к самому себе?

А. Б. Я думала, что этот путь будет трудным и долгим, но пример начавших его станет соблазнительным. Оказалось,

что независимость нужна многим и многие готовы за это платить. И в пресловутой «период застоя» возникли очаги высокого духовного, нравственного подъема. Правовой подход исподволь становился частью общественного сознания.

Если это интервью будет опубликовано, я бы хотела, чтобы то, что я сейчас скажу, осталось в нем непременно. Через месяц после того, как я посмотрела открыто идущий по стране фильм «Покаяние», погиб в тюрьме Анатолий Марченко. И понимаете — при том, что смерть его трагична, предшествовавшие события вызвали у меня ощущение, что умер он не напрасно. Что его жизнь завершилась, завершая некий этап и этим открывая следующий. Для меня во всяком случае, эти связанные вещи. Многие говорят, что смерть Анатолия ускорила амнистию, открывшую для инакомыслящих ворота лагерей. Может быть, это в каком-то смысле так и есть. Будто какой-то писатель, очень талантливый, все это придумал; и жизнь Анатолия, и его смерть. Это была совершенно законченная жизнь. Как написанная, как сочиненная. Может быть, действительно сочиненная, я не знаю...

С. К. И даже конец был как бы тоже необходим. Конец этой жизни входил в дело этой жизни.

Корр. Итак, ситуация изменилась. Идея правового государства стала официальной политикой. Начался новый этап — какой? Что нам делать?

С. К. Теперь, в это сложное, чтобы не сказать — смутное время, на первое место выходит ответственность. Как и независимость, это понятие нравственное. Ответственность за возможные последствия наших действий. Безответственность — взрывоопасна. Чтобы избежать ее, надо твердо выбрать путь права.

Право — это веками отработанный механизм честного разрешения противоречивых интересов. Это механизм умиротворения. Интересы людей исходно равноправны, а в случае их конфликта пускатель решает независимый арбитр — закон. Независимый суд именем закона.

Но закон — не все, должно развиваться, воспитываться общественное правосознание. И на этом пути сегодня, как никогда, важна истинная консолидация общества. В этом мы согласны с Горбачевым. Но я говорю о культурной консолидации, а не о лицемерной колонне «единомышленников» под одним лозунгом. Страна, наконец, должна понять, что согласно и совместно могут действовать люди, думающие по-разному и не прячущие своих мыслей. Стране нужно честное согласие иединомышленников!

Здесь нужно преодолевать и некоторые старинные «антипатии» русского интеллигента — например, его отвращение к компромиссам. Идея консолидации в том виде, как мы ее себе представляем, исходит из того, что не всякий компромисс «бесчестен». Что ответственное отношение к делу требует взаимопонимания разномыслящих слоев, рассмотрения разных вариантов конструктивного поведения.

Корр. Но взаимопонимание может потребовать и взаимодействия. Вас не смущает возможность совместных действий с бывшим противником?

С. К. Правозащитное движение 60-х—70-х годов вовсе не отвергало взаимодействия. Некогда Сахаров и Чалидзе предлагали консультировать правительство по правовым вопросам. Правовой подход исходит не из противостояния сторон, а из их равенства, следовательно — из взаимного признания каждой стороной статуса другой. Я гражданин, вы власть, несогласие не есть неуважение. Я только утверждаю, что гражданин может быть несогласен с властью, имеет право на это и может даже рассчитывать на победу в споре, если закон и истина на его стороне.

Но взаимодействие может быть и более плотным. Включая и поддержку власти, и согласие с властью во многих пунктах. В том, в чем я согласен, я готов добросовестно сотрудничать. Иногда приходится слышать, что готовность к сотрудничеству — это измена позициям, чуть ли не «коллаборационизм». Ничего подобного: это продолжение правозащитной позиции. Мы ступаем на путь конструктивных поисков, мирного диалога. Но общество должно понимать, что некоторая консервативность присуща самой природе власти, более того — это очень важное положительное ее свойство. Если угодно, — власть и должна быть несколько консервативной! Это придает государству стабильность, предохраняет его от резких бросков в стороны. В такой гигантской стране инерция неизбежна, и, я считаю, — необходима. Именно такое понимание может быть одной из основ культурной консолидации общества. Должно выработаться понимание неизбежности борьбы мнений — мирной, ненасильственной борьбы. И нормальное, естественное к ней отношение, поиск конструктивных решений.

Механизм такой мирной регуляции обязательно будет в чем-то неудобен каждой из сторон — это свойство демократии. Свойство уже появилось, его ощущают все. Со временем сложится и механизм.

Беседу провела Алла ГЛЕБОВА

## СОДЕРЖАНИЕ

### СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

<i>С. Максудов.</i> "Диалог" с кривым зеркалом . . . . .	3
<i>А. Кустарев.</i> Похвала в обществе . . . . .	28

### НАСЛЕДИЕ

<i>Варлам Шаламов.</i> "Сучья война" . . . . .	47
--	----

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

<i>А. Жолковский.</i> "Аристокастратка" . . . . .	69
<i>А. Синяевский.</i> Мифы Михаила Зощенко . . . . .	82
<i>С. Лурье.</i> Правда отчаяния . . . . .	104
<i>И. Ефимов.</i> Вера и неверие Льва Толстого . . . . .	126

### В САДАХ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

<i>З. Зиник.</i> Беженец . . . . .	144
<i>Вагрич Бачханян.</i> Повесть о том, как поссорились Александр Исаевич и Иван Денисович . . . . .	153
<i>М. Айзенберг.</i> Новые стихи . . . . .	167
<i>А. Битов.</i> "Ты один мне поддержка и опора" . . . . .	176

НАША ПОЧТА . . . . .	178
----------------------	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ . . . . .	180
----------------------	-----



Цена номера 65 фр.фр.  
Подписка в редакции на 4 номера — 240 фр.фр.  
Пересылка за счет подписчика.

